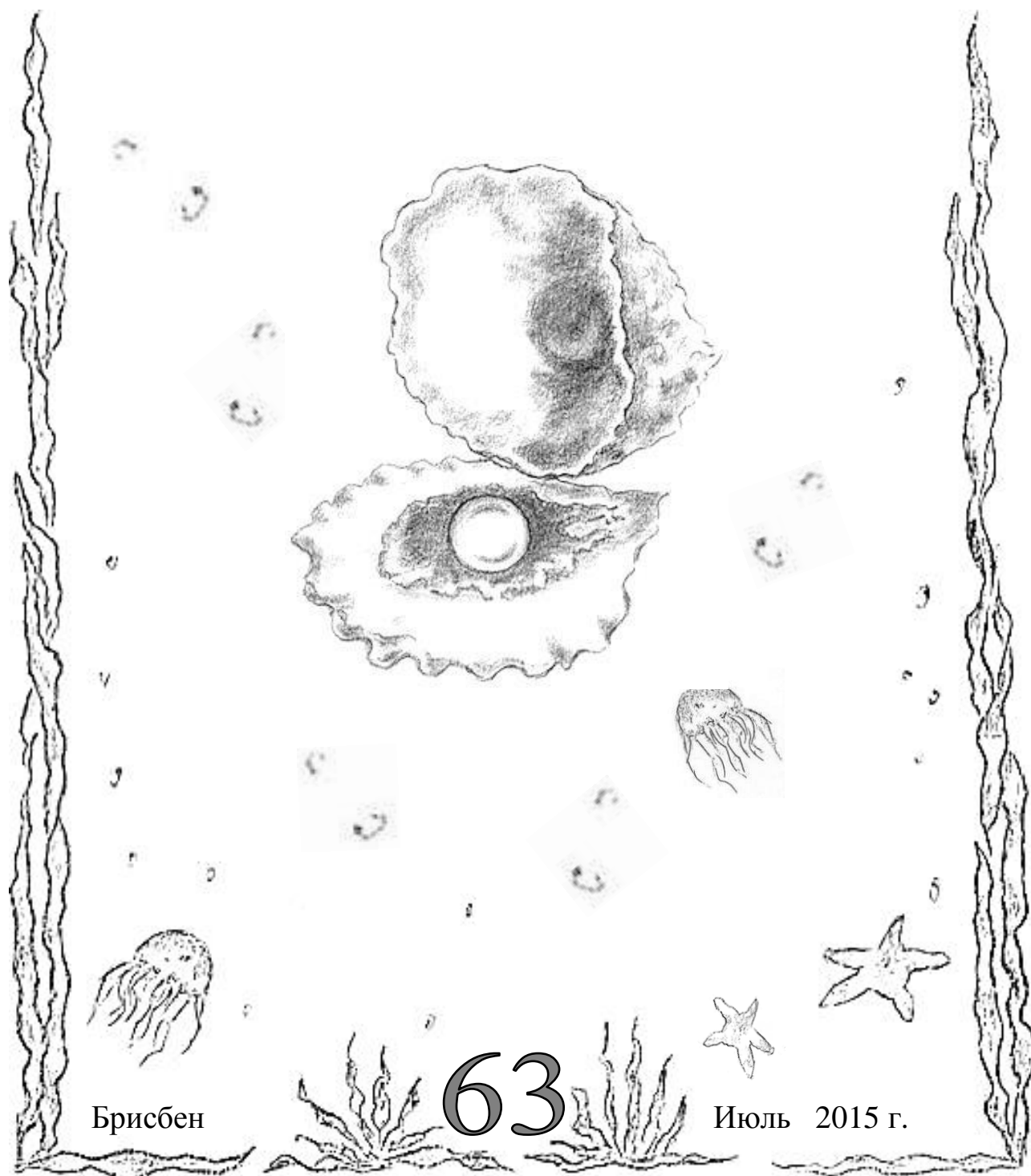


ЖЕМЧУЖИНА

Литературно-художественный образовательный журнал

«The Pearl» / «Zhemchuzhina» № 63 Brisbane, Australia, July 2015



Брисбен

63

Июль 2015 г.

“The Pearl” / “Zemchuzhina”

Literary and Educational Journal in the Russian Language.
Published and printed by the Editor of “The Pearl” / “Zemchuzhina”
Brisbane, Australia.

«Жемчужина»

Литературно-художественный образовательный журнал.
Выпуск - 4 раза в год.

Copyright © Tamara Maleevsky - The Editor of “The Pearl” / “Zemchuzhina”

This publication is copyright. Apart from any fair dealing for the purposes of private study, research, criticism or review, as permitted under the Copyright Act, no part may be reproduced by any process without written permission of the Editor.

National Library of Australia cataloguing-in-publication data
“The Pearl” / “Zemchuzhina” - Literary and Educational Journal in the Russian Language

Index

ISSN 1443-0266

Signed articles express the opinions of the authors and do not necessarily represent the opinions of the editor of “The Pearl” / “Zemchuzhina”.

“Zemchuzhina” (“The Pearl”) is a magazine published at the Editor’s own expense as a non-profit publication for the Russian society, consequently, it does not offer any honorariums, stipends or other remuneration to its contributors.

Взгляды, высказываемые авторами в своих статьях, не обязательно совпадают с мнением редакции.

Журнал «Жемчужина» выпускается исключительно на личные средства издателя для русского общества и не преследует коммерческих целей. Следовательно, издатель не выплачивает никаких гонораров, стипендий или иных вознаграждений авторам, труды которых он печатает.

Редакция оставляет за собой право сокращать рукописи и изменять их стилистически.

Рукописи, не принятые к печати, не обсуждаются и не возвращаются.

Адрес для связи:

tamaleevpearl@optusnet.com.au или tamaleevpearl@gmail.com

***Просьба:** посылая работу по E-mail, обязательно делать пометку - “For Pearl”.

Tel: редакция - (07) 3161-49-27 mobile: 0404559294

Сайт журнала в Интернете - <http://zemchuzhina.yolasite.com>

Цена отдельного номера - \$ 6 плюс \$ 2.10 пересылка по Австралии и упаковка.

Стоимость годовой подписки (4 журнала), включая пересылку по Австралии - \$ 33



Анастасия

О чём нас время спросило?
 Что потеряли мы когда-то,
 Когда в безумии России
 Брат дерзко поднял меч на брата?
 Дитя невинное. Царевна.
 Вдруг стало имя «Царь» презренно,
 А злые духи, люд смущая,
 На бунт кровавый поднимали.
 Но в мраке рдеющей вуали
 Златые звездочки сияли,
 Одной из светлых душ России
 Была Она – Анастасия!

.....
 Она росла живым ребенком,
 Шкодливый ласковым котенком,
 Ея проделки озорные
 Вносили смех в дела земные.
 Любила братика, сестренку,
 И смех ея был вешний звонок.
 Цвела среди соцветий славных,
 Царевых Дочек православных.

.....
 Пришла война, а с ней невзгоды,
 Волнами вздыбились народы.
 В госпиталя больных свозили
 С фронтов воюющей России.
 Шли к раненым бойцам Царевны,
 Лицом прекрасны и смиренны.
 Всем ясным солнышком светила
 Царева Дочь Анастасия.

.....
 Голгофа. Царское распятие.
 Как в цвете жизни погибать-то!?
 Но на заклянье Царь с Семейю
 Пошел смиренно за Судьбою.

.....
 Расстрелян Царь, а с Ним Россия.
 Плыла душа Анастасии
 Над Русью милой в поднебесье
 Печальной лебединой песней.
 Прости нас, дочь Царя меньшая,
 Сошла с ума страна большая,
 Невосполнимы те утраты,
 Что понесли мы безвозвратно!
 И сквозь года скорбей и смуты
 Сорвать пытается всё пути
 Цареотступная Россия.
 Молись за нас, Анастасия!

22.06.2015 г.

В.К. Невярович. Россия.

Смерть Сократа

О чем Сократ подумал перед смертью?
 Возможно, просто грустно посмотрел
 В окно тюрьмы,
 Где дождь играл на цитре,
 И ветер еле слышно песню пел...
 Сократ кому-то друг,
 Но истина дороже...
 У большей части истина - в еде.
 А дружба очень просто продается,
 Проблема только -
 По какой цене.
 Что ж до нее,
 То здесь - простор фантазии!
 Уж если нужно, за ценой не постоют!
 И, сколь ни рассуждай об истинности блага,
 А все-равно цикуты выпьешь яд...
 Сократ печально смотрит в небеса
 По-стариковски синими глазами...
 Он понимает в чем беда Эллады:
 Здесь осудить посмели Мудреца

Виктория Федоровская.

Сайт «Свете Тихий».

Брат Каина

Войди в мой дом, не прячь стыдливо глаз,
 Здесь красный угол от пожара чёрен,
 Где был иконостас - железный "ворон",
 В окно влетевший огненный фугас...

Дрожу лицом. Листом дрожит мой сад,
 Горячий холод с рук сдирает кожу...
 Они, как братья, слишком уж похожи -
 Снаряд «ВО» и киевский снаряд...

Фрагменты тела. В луже крови - кот,
 Зрачки пусты, как жерла у бойницы.
 Вам за грехи войны не отмолятся
 Ни через семь десят, ни через сто...

Не стой в дверях! Иди и посмотри -
 Вода по капле кровотоцит в кране.
 Добро пожаловать, возлюбленный
 брат Каин,
 В наш отчий дом, где мы с тобой росли...

Наталья Колмогорова.

Сайт «Свете Тихий».

Основы христианской культуры



12. О МИРООТВЕРГАЮЩЕЙ РЕЛИГИИ

Одним из самых знаменательных последствий всей этой морально-нигилистической установки является то своеобразное *практическое миронеприятие*, которое служит для «непротивляющегося» последним и самым надежным убежищем и прикрытием. Это отвержение внешнего мира происходит, по-видимому, из моральных оснований, но в действительности коренится в смутной и сбивчивой религиозной концепции внешнего мира.

Моралист, как уже установлено, ведет жизнь, завернувшись в себя, и вследствие этого он оказывается отвернувшимся ото всего, что не есть его собственная душа, с ее то

греховными, то добродетельными наслаждениями. Понятно, что весь «внешний мир» отходит для него на второй план и блекнет в своей реальности. Имея в своем внутреннем мире верховную и единственную ценность (добродетельную жалость и жалеющее наслаждение), моральная душа не ценит и не культивирует центробежного уклона жизни; ей трудно выйти из своей установки и обратиться к «внешнему миру», и если она бывает вынуждена «брать» что-нибудь «внешнее», то она соглашается на это лишь постольку, поскольку этот материал имеет характер умилительный, сентиментальный, идиллистический; все же остальное осуждается, отвергается и обрекается на исключение как «безнравственное».

Именно этим объясняется то обстоятельство, что у Л.Н. Толстого имеются два прямо противоположных воззрения на «природу» и на «человеческое общество» - на эти две великие части «внешнего мира».

Согласно *первому* воззрению, природа божественна и благодатна. Она создана Богом; она связана с ним настолько, что *ее* закон есть Его закон, так что религия устанавливает связь человека не только с Богом (первопричиной), но и с «вечным, бесконечным миром», от него происшедшим. Воля Бога не только не расходится с «вечными, неизменными» законами природы, но прямо совпадает с ними: исполнение этих законов есть исполнение Его воли. Этот мир движим любовью, и даже животные живут в нем мирно и не обижают друг друга. Понятно, что и плоть человека, созданная Богом и вводящая его в состав внешней природы, не осуждается, а приемлется: человеку дан «закон труда» и «закон рождения детей», закон «вечный, неизменный» - это «закон Бога и воля Бога», посланного в мир, и женщина, рождая детей, не грешит, а «служит Богу». Связь с природой признается прямым условием счастья и добродетели; трудовое одоление ее стихий является первой и несомненной «обязанностью человека»; единение людей друг с другом объявляется высшим благом, «доступным людям» «в нашем мире».

Этому идиллическому воззрению на внешний мир, по которому все покоится на любви и «насилии» просто *не нужно*, - противостоит *второе*, обратное понимание. Согласно ему, «внешний мир есть мир розни, вражды и эгоизма», он «лежит во зле и соблазнах», в нем царит «неотразимый» «закон борьбы за существование и переживание способнейшего»; этот закон «руководит жизнью всего органического мира, а потому и человека, рассматриваемого как животное»; это - «вечный для всего живого» «закон эволюции», который в то же время «противен закону нравственности». Моралист не приемлет этого мира розни, состязания и конкуренции; этот мир живет вне морали и против морали, движимый естественным, жадным, безжалостным, бесстыдным инстинктом, который ищет наслаждения в грехе и окаянно грехом наслаждается. Как бы человек ни разукрашивал эту рознь и этот грех - «борьба всегда останется борьбой, т. е. деятельностью, в корне исключаящей возможность признаваемой нами христианской нравственности». И потому все формы и разновидности этой борьбы людей друг с другом предосудительны и запретны: и хозяйственная конкуренция, развивающая технику и материальную культуру, и борьба, возгорающаяся из-за половой любви, и общественно-политическая борьба за право и за власть.

Именно это воззрение на внешний мир как на среду глубоко противоморальную ведет к проповеди *аскетизма, опрощения и непротивления*.

Моралист есть существо испуганное и подавленное непомерно, навязчиво, претенциозно реальностью своего «тела» и его инстинктивных влечений. Эти влечения он переживает как направленные во внешний мир, как наступательные, нападающие: начиная от борьбы за пищу и кров, за собственность, богатство и власть и кончая агрессивностью полового инстинкта и его борьбой за обладание. Все это влечет к «насилию»; все это ставит на «путь дьявола» и тянет к смертному греху, все это будит в человеке его «животную личность» и превращает его в жестокого зверя; все это идет от «внешнего мира» и тянет во «внешний мир»; все это должно быть сведено к минимуму и в идеале совсем подавлено.

Так, в природе разлитое некое с моралью не считающееся сладострастие, не только вчуже беспокоящее человека, но живущее в нем самом и то и дело восстающее в его душе в виде «греховной похоти». Эту греховную похоть моралист воспринимает в самом себе как начало зла, как вечно и ненасытно шевелящегося в душе врага добродетели. Понятно, что моральный закон категорически требует его подавления. Предаваться этой «похоти» - «недостойно человека», «унизительно», постыдно и грешно: «добродетель» требует, чтобы человек жалел человека, а не вел его ко греху через стыд и боль, наслаждаясь его страданиями. Добродетель требует «целомудрия», «полного целомудрия»; вступление в брак «не может содействовать» «служению Богу и ближнему», и «плотская любовь» - это «служение себе самому» - должна быть заменена «чистыми отношениями сестры и брата»; пусть прекратится от этого род человеческий - люди все равно уже свыклись с этой идеей, одни в порядке религиозного верования, другие в порядке научного прогноза. Рождение детей было бы допустимо для сострадательного моралиста разве только в том случае, если бы он увидел, что «все существующие жизни детей уже обеспечены»...

Аскетически отвергая в самом себе начало «плоти» и «инстинкта» как начало «внешнее», «противодуховное», «насильственное» и злое, моралист категорически требует, чтобы человек как можно меньше предавался своей телесности, чтобы он свел ее потребности к самому необходимому и вложил всю свою телесную энергию в единственный достойный человека, морально-честный и почетный, никого не обижающий и не эксплуатирующий физический труд. Трудится только тот, кто работает физически; всякий иной, «умственный» труд есть мнимый: это пустословие и обман. Чтобы быть морально на высоте, человек должен забыть всякую распущенность и прикрывающие ее обманы; он должен *упростить жизнь и опроститься*. Упростить жизнь надо и внутренне и внешне настолько, чтобы совсем не возникли ни потребности, ни отношения, уводящие человека в «мир насилия». Надо упростить культуру, общественную организацию, хозяйство, обстановку, одежду и стол, исключая и вытравляя отовсюду элемент *внешнего насилия и пользования чужим трудом*: надо упразднить собственность на землю, наем и аренду, досуг, необходимый для духовного творчества, власть и законы, половую любовь и роскошь, фабричное производство и деньги, охоту и мясоедение, вмешательство в чужую жизнь и армию, словом, все то, что навязывает человеку «внешний» - природный и общественный мир. Надо опуститься на тот уровень первобытной простоты, который «доступен всем людям всего мира», так, чтобы все делали только то, что *все* могут делать, и всякий обслуживал бы сам себя, не одоляясь у других и не мешая им делать, что хотят.

Именно в связи с этим мироотвержением вырастает и требование воздерживаться от активной, пресекающей борьбы со злом: внешний мир лежит во зле и в познании его человек крайне ограничен; поэтому он должен последовательно извлечь из него свою волю, предоставляя совершаться неизбежному.

«Вопрос о том, - пишет Л.Н. Толстой, - что я должен делать для противодействия совершаемому на моих глазах насилию, основывается все на том же грубом суеверии о возможности для человека не только знать будущее, но и устраивать его по своей воле. Для человека, свободного от этого суеверия, вопроса этого нет и не может быть»: «полезно ли, не полезно ли, вредно ли, безвредно будет употребление насилий или претерпение зла - я не знаю, и никто не знает»... Положим, что «злодей занес нож над своей жертвой, у меня в руке пистолет, я убью его, но ведь я не знаю и никак не могу знать, совершил ли бы или не совершил бы занесший нож свое намерение. Он мог бы не совершить своего злого намерения, я же наверное совершу свое злое дело»... Что бы ни происходило во внешней общественной жизни, человеку надо помнить, что каждый управляет собою и только собою; надо помнить это и самому не грешить, а о последствиях не думать, ибо они никогда не могут быть нам доступны.

Такова концепция внешнего мира у графа Толстого во всех ее последствиях. Он созерцает мир или как богоустроенную идиллию и тогда отвергает принуждение, как абсолютно ненужное; или же он созерцает мир как некое царство страстей, греха и лжи, в котором

принуждение, может быть, было бы и нужно, и целесообразно, но от которого человек должен именно вследствие этого отвернуться, с тем чтобы не участвовать в его жизни. Оба эти истолкования внешнего мира связаны одним: отвержением «насилия»; и, психологически говоря, оба они, может быть, прямо вырастают из моральной потребности отвергнуть его. «Насилие» не нужно, если мир со всеми его законами благодатно изошел от Бога; «насилие» есть недопустимый грех, если мир лежит в зле. Сентиментальный моралист то утешает себя космической идиллией, то бежит от мира, предоставляя его своей судьбе. Однако он ищет успокоения и в бегстве; и, обосновывая правоту этого бегства, как бы в ограждение своей пассивной добродетели и своего внутреннего наслаждения, прикрывается и обороняется ссылкой на «волю Божию».

Согласно этим успокоительным указаниям, «внешний мир», хотя и лежит «во зле и соблазнах», хотя и правится безнравственным законом борьбы, - тем не менее ведается и «Божией волей». Она состоит в том, чтобы люди жалели друг друга и не думали о том, что из этого выйдет. Надо самому «следовать только тем указаниям разума и любви, которые Он вложил в меня для исполнения Его воли», и предоставить последствия такого делания на Божие усмотрение: ибо эти последствия суть «дело Божие». Это от Бога устроено так, что каждый человек отвечает только за себя и что никто не имеет ни «права», ни «возможности устраивать жизнь других людей»; «дело каждого устраивать, блюсти только свою жизнь»; и потому при виде злодеяния человек должен «ничего не делать», предоставляя согрешившему «каяться или не каяться, исправляться или не исправляться», не мешая и не вторгаясь в его внутренний мир, в эту сферу Божьего ведения. Такое вторжение, такое «выхождение за пределы своего существа» означало бы попытку присвоить себе Божии права, узурпировать Божию власть, «святотатственно» заместить волю Божию, как якобы недостаточную, но такая попытка всегда равносильна «отрицанию Бога». Поэтому все, что я могу сделать в защиту убиваемого ближнего, - это предложить злодею удовлетвориться убиением меня; если же он не заинтересуется моим предложением и предпочтет убить свою жертву, то мне остается усмотреть в этом «волю Божию»...

Таково *практическое миронеприятие*, к которому приходит Л.Н. Толстой, отправляясь от своей сентиментальной морали, двигаясь вперед со всею своею нигилистическою прямолинейностью и не замечая ни затруднений, ни противоречий. Близорукий и мнительный, моральный суд вламывается в самую сущность живого мировосприятия, судит, критикует и отвергает, не давая ни испытать, ни увидеть, ни осмыслить, не позволяя ни зародиться, ни расцвести иному, не специфически-моральному, - религиозному, или научному, или духовно-нравственному - испытанию и увидению. И вот *духовный* нигилизм восполняется столь же нигилистическим отношением к *инстинкту*, к чувству любви и деторождению. Моралист учит относиться к жизни инстинкта, к его живой тайне, к его здоровой и духовно-значительной глубине, к святине брака, отцовства и материнства - с тем же отрицанием, как и к жизни духа. Жалость, отвернувшаяся от духа и изнемогшая при виде чужого страдания, отвергает и основную *силу жизни*, как греховную и злую: ибо она усматривает некую «безжалостность» в природе и в инстинкте, не усматривая его таинственной мощи и его удобопревратимости в духовное благо. Верный себе, сентиментальный моралист требует от «природы» того, чего она дать не может и не хочет, и не может взять от нее то, что составляет ее богатство и глубину. И так как он привык измерять всякое совершенство моральным мериллом и усматривать веяние божественного только в жалости, то ему остается осудить «внешний мир» и *освободить себя от волевого участия в нем*. Да и что же другое могла бы сказать «добродетель», не усматривающая божественного ни в чем, кроме самой себя? Если тяга во «внешний мир» есть тяга к насилию, уводящая от добродетели, то этим уже произнесен приговор не только «внешнему миру», который вовлекает душу в грех, но и тому существу, которое влечется к насилию. И отсюда неизбежное требование: отвернуться от «внешнего мира» и постольку, поскольку он вне человека, и постольку, поскольку он скрыт в самом человеке, хотя бы для этого пришлось низвести человека до уровня первобытного варварства, духовной слепоты, физической нечистоплотности и повального вымирания.

Если внешний мир «лежит во зле» и «вечный», «неотразимый закон, правящий им, „безнравствен“, то не следует ли, в самом деле, отвернуться и бежать от мира, спасаясь? И вот моралист освобождает человека от призвания участвовать в великом процессе природного просветления и в великом историческом бое между добром и злом; он избавляет его от задания найти свое творчески-поборающее место в мире вещей и людей; он снимает с него обязанность участвовать в несении бремени мироздания; он дает ему в руки упрощенный трафарет для суда

над миром и ставит его перед дилеммой: „или идиллия, или бегство“; и этим он научает его морализирующему верхоглядству и безответственному духовному дезертирству. И наставляя человека к такой мнимой мудрости и праведности, он, по-видимому, совсем не дает себе отчета в том, что его учение насаждает в душах противорелигиозное высокомерие и ослепление.

Именно это отсутствие верного религиозного самосознания и позволяет ему прикрывать свое слепое бегство ссылкой на «волю Божию». В самом деле, если мир создан Богом, то почему же он «зол» и «безнравствен»? А если он «безнравствен» и «зол», то как же может он находиться в «воле Божией»? Если мир создан Богом, то какое право имеет человек призывать к мироотвержению? А если он бежит от мира, как управляемого безбожным законом борьбы, то откуда же эти успокоительные ссылки на волю Божию, правящую миром?

Однако сентиментальный моралист не считается с этим и выдвигает идею «воли Божией» каждый раз, как ему необходимо прикрыть свое собственное морализирующее безволие. Волевое участие человека в несении бремени мироздания он объявляет «грубым суеверием»; «истинная» же вера состоит в том, чтобы отнести все, беспокоящее его душу, «внешнее» общественное зло - к воле Божией. Эта «истинная» вера утверждает, что всякая неугворимая злоба и все ее злодейские проявления - посланы Богом и что всякая попытка пресечь эти злодеяния была бы сущим святотатством. Если принять это учение, то окажется, что Бог «хочет» не только того, чтобы все люди любили и жалели друг друга, но еще и того, чтобы очень многие люди, поддаваясь на жалостливые уговоры других, свирепствовали и злодействовали, физически насилуя и убивая добродетельных и духовно растлевая слабохарактерных и детей; и, далее, окажется, что «Бог» совершенно «не хочет» того, чтобы деятельность этих свирепых негодяев встречала организованный отпор и пресечение. Уговаривать злодеев «Бог» позволяет; расширять объем их злодеяния предложением себя в жертвы - «Бог» тоже разрешает; но если кто-нибудь, вместо того чтобы предоставлять злодеям все новые беззащитные жертвы и отдавать им младенцев в духовное растление, вознегодует и захочет пресечь их неугворимое злодеяние, - то Бог осудит это как кощунство и безбожие. Когда злодей обижает незлодея и развращает душу ребенка, то это означает, что это «угодно Богу», но когда незлодей захочет помешать в этом злодею - то это «Богу не угодно». «Воля Божия» состоит в том, чтобы *никто не обижал злодеев, когда они обижают незлодеев*, ибо «по Его воле» все дети, все слабохарактерные, все добрые люди отданы в непрерываемую и бесспорную добычу растлителям и злодеям, свирепость которых остается неприкосновенною святынею для всех остальных людей. И тот, кто этого не понимает или не соглашается с таким толкованием и «берет меч», предпочитая лучше погибнуть самому «от меча», чем предательски соучаствовать в торжестве зла, тот объявляется безнравственным и безрелигиозным человеком, злодеем, не верующим в Бога.

Прикрывая свое сентиментальное безволие и свой близорукий нигилизм таким чудовищным религиозным построением, приписывающим Богу волю ко злу и к свободе злодеяния, моралисты, по-видимому, не замечают, как все это обывательское богословствование и морализирование приводит их к целому гнезду религиозных противоречий и нравственно-фальшивых положений. Так, с одной стороны, Бог есть «любовь» и хочет от людей взаимного «сострадания» и «единения»; с другой стороны, он хочет злодеяния, свободы и безнаказанности для злодеев. С одной стороны, только добро соответствует воле Божией и человеческая воля получает недостижимый для нее идеал морального совершенства; с другой стороны, *все*, что совершается, совершается по воле Божией, и злодей, злодействуя по Его воле, не имеет никаких оснований воздерживаться от своих злодеяний, но всегда может прикрыть их тою же ссылкой, которою моралист прикрывает свое безволие. С одной стороны, человек должен принять волю Божию как свою («совесть», «сострадание») и исполнять ее в жизни; с другой стороны, человек обязан извлечь свою волю из той сферы («внешний мир», «чужая свобода»), где начинается «воля Божия». Но это означает, что все учение о соотношении Божией воли и человеческой воли становится жертвою противоречия и произвола. Сентиментальный моралист то «приемлет» волю Божию, когда это приятие ведет его к пассивному наслаждению жалостью, то не «приемлет» ее, когда это приятие повело бы его к героическому волевому служению. Это объясняется тем, что он обращается к Богу, Его дарам и исходящим от Него испытаниям и заданиям - не «всею душою, и не всем помышлением, и не всею крепостью», а только сентиментальностью своего ищущего наслаждения и безвольного «сердца». Именно поэтому он оказывается религиозно слепым в обращении к «внешнему миру», с его таинственной сложностью, с его трагедией разъединения и волевыми заданиями, с его сущностью, не сводимую ни к идиллии, ни к богопротивному окаянству. Религиозный опыт моралиста - бездуховен,

безволен, односторонен и скуден; его «религиозное учение» есть порождение самодовольного рассудка, пытающегося извлечь божественное откровение из беспредметно умиленной жалостливости. Вся религия его есть не что иное, как *мораль сострадания*. Но эта мораль и ее страдающий подход дает человеку *не опыт Божьего совершенства*, а только *опыт человеческого сострадания*: она видит мучающегося человека и сводит все откровение к сочувствию этой муке. Но это значит, что он воспринял не человека через Бога, а *осмыслил Бога через человека* и не человека осветил лучом любви к Богу, а *восприятие Бога затемнил состраданием* к мучающимся людям; именно поэтому он нашел страдающего человека, но не нашел ни его отношения к Богу, ни своего отношения к Богу, ни отношения Бога к нему, страдающему, и к себе, безвольно и сладостно жалеющему. И все это недоразумение он попытался выдать за учение Христа.

Если это религия, то религия, связующая не человека с Богом, а человека с человеком, и притом связующая неверно и некрепко: не дух с духом перед лицом Божиим, а душу с душою перед лицом земного мучения; эта связь творится не всею душою и не волею, а лишь аффектом внутреннего умиления; она слагается во взаимном сочувствии к тягостям личной жизни, но распадается в безвольном отвержении общего бремени при первом же дуновении подлинного зла. Настоящая религия начинается от Бога и идет к миропрятию, а это учение начинается от человека и идет к мироотвержению. Настоящая религия приемлет мир волею, но цельно не приемлет восстающего в нем зла и потому ведет с ним волевою, героическую борьбу, а это учение не видит мира из-за гнездящегося в нем зла и потому отвертывается и от зла, и от мира, и от волевой борьбы с ним. Настоящая религия есть творческое горение о добре, т. е. о духе и любви, а это учение утверждает как практическое безразличие к работе зла в мире, к духовности человека и к ее судьбам на земле. Настоящая религия приемлет бремя мира как бремя Божие в мире, а это учение отвергает бремя мира и не постигает того, что это мироотвержение таит в себе богонеприятие...

Таковы религиозные основы этой сентиментальной морали. Последнее слово ее есть *религиозное безволие* и *духовное безразличие*, и в этом безволии и безразличии она утрачивает предметность и силу религиозной любви и не постигает ни ее земных заданий и путей, ни ее видоизменений и достижений в мире.



И. ИЛЬИН.

Я топтал свою веру, выкорчёвывал, жёг...

Я топтал свою веру, выкорчёвывал, жёг,
погружался в трясину греха.
Но опять и опять воскресал в душе Бог,
и я плакал...и в строчках стиха

о кошмаре безбожья писал, не тая
ни исканий своих, ни падений;
и писал как крепка, сильна вера моя,
и какие-то чёрные тени

отступали и таяли там, за спиной,
уползали в болото, в трясину,
чтоб потом за стихи, что написаны мной,
вдруг ужалить, ударить мне в спину.

Но хранил меня Бог и доселе хранит.
И сквозь боль, и сквозь горе и грех,
Я пишу...и как колокол стих мой звенит
для упавших, для сильных, для всех.

Для таких же, как я, кто по жизни бредёт,
и под кем хрупкой веры ломается лёд.
И кого, как меня, сострадания полн,
Бог выводит из страшных неверия волн -
вновь выводит к молитве и вере...

Эдуард Ковшевный. Россия.



В белую ночь

Сердце в истоме от света
Ясных поморских небес,
В белые ноченьки лета
Сказочны речка и лес.

Сказочны море и скалы,
Нежит меня тишина.
Милую даль приласкала
Чудных ночей белизна.

Даже сквозь тучи над морем
Льётся божественный свет.
Будто бы убыли зорям
В этой идиллии нет.

Александр Лазутин.
(фото автора) Сайт Свете Тихий.

КАК ЧУЖОМУ СТАТЬ СВОИМ, А СВОЕМУ НЕ СТАТЬ ЧУЖИМ



Человеку свойственно делить мир на своих и чужих, а любое проявление социального или национального неблагополучия обостряет реакции этого ряда. Когда человек боится за свой завтрашний день, он весьма подозрительно присматривается к тем, кто может сделать этот день для него тяжелым. А если человека уже сегодня на каждом шагу что-то утешает и раздражает, то завтрашнего дня ждать необязательно.

По образу и подобию Божиему создан всякий человек, вне зависимости от национальности, партийности, общественного положения, взглядов и прочих маркирующих признаков. Именно на этом должно строиться христианское отношение к человеку. Можно верить, что во многих из нас есть желание именно так относиться к другим, к непохожим на нас людям, но всегда ли это у нас получается? Иногда просто не получается совсем.

Конечно, эта проблема - проблема общественного противостояния и определения людей, входящих в некую группу как чужих, то есть заведомо враждебных, - непроста и неоднозначна. Однако разбираться в ней мы должны - не переставая быть христианами...

Василий (Фазиль) Ирзабеков - природный азербайджанец, получивший русское филологическое образование, в зрелом возрасте сознательно принявший Православие, ставший писателем, просветителем, публицистом, решительным защитником Русского мира и русского языка, но не забывший о своем восточном происхождении, - показался нам самым подходящим для этой темы собеседником.

- Василий Давыдович, есть ли для Вас чужие и есть ли те, для кого Вы - чужой?

- Я очень стараюсь, чтобы чужих для меня не было. Но искушения случаются.

Я несколько лет работал в университете с иностранными студентами. Это было очень давно, в советское время, когда и Болгария для нас была далекой границей, а передо мной были люди из семидесяти девяти стран, всех цветов кожи. И они не были идеальными, конечно, проблемы у нас с ними возникали постоянно. Но я привык к ним относиться с каким-то чувством родства. Может быть, оттого, что я понимал: как только я сам пересеку границу их родины, я стану таким же, как они здесь, - чужим.

Я советский человек. Москва для меня никогда не была чужим городом. Она была столицей того государства, в котором я вырос, столицей империи. Я сам вырос в Баку, но нашей фамилии в Москве уже пять поколений живет. Первый раз я приехал в Москву девятиклассником, в 1968 году. И влюбился в Москву сразу и навсегда. Она навсегда стала для меня родной.

- Не было случаев, когда Вам давали почувствовать себя чужим - в столице империи или вообще среди русских?

- Русские меня не обижали никогда. Да, никогда. Но я имею в виду сейчас настоящих русских людей. Русский человек - это для меня понятие сакральное, и оно, конечно, шире этнических рамок. Есть удивительное понятие «Русский мир» - в нем можно родиться нерусским, но стать русским. Природные русские люди составляют, безусловно, костяк этого мира, Русского космоса - без них его бы не было. Именно они наделяют его теми чертами, благодаря которым люди иных культур, иных этносов входят в него, становятся в нем своими и обогащают его. Таких «нерусских русских» сонмы, а любимый мой из них - создатель «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимир Даль: русской крови в нем не было ни капли, но именно он язык наш нам сохранил. А преподобномученица Елисавета, одна из любимых русских святых, - немка по крови; а святитель Лука Войно-Ясенецкий, ведь его отец был убежденным католиком, но он - русский святой, исповедник, один из столпов Церкви в безбожные годы. Трудно остановиться, очень много имен еще можно назвать.

Однако можно и наоборот - родиться русским, но в итоге им не стать, не вырасти в настоящего русского. Потому что родиться русским - для этого мало. У меня был студент из Бангладеш, который на ту валюту, которая у него была, покупал на «черном рынке» томики Ахматовой, Мандельштама, Пастернака: в советские годы их невозможно было просто в книжном

магазине купить. А сколько есть природных русских или русскоязычных, которым все это не нужно?

В русскости как в духовном состоянии нужно возрастать. Я надеюсь, что возрастаю, потому что с годами чувствую себя все более русским.

- Но Вы не перестаете быть азербайджанцем при этом. От кого бы ни исходили те уничижительные наименования кавказских и закавказских мигрантов, которые прочно вошли в наш язык - от настоящих или ненастоящих, «недоросших» русских, - могут ли они Вас не задевать?

- Моя соседка, природная русская женщина, жалуется мне: «Василий Давыдович, да что ж такое, кругом одни черные!». Меня она «черным» не считает, заметьте. Откуда пошло это слово - «черные»? Вы когда-нибудь слышали, чтобы африканцев черными называли? Русский человек - он живет сердцем и доверяет своим ощущениям. И вот он видит: стоит группа людей, которая отгородилась от всех нас - от Русского мира - стеклянной стеной. Что создает эту стену? Речь, манеры, поведение, поступки. Все это говорит об отсутствии уважения к России, к народу, среди которого они сейчас находятся, к его культуре. От этих людей исходят флюиды - не светлые. И русский человек это чувствует. И отвечает этим словом - «черные».

- Но разве все такие?

- Не все. Но ответственность за то отношение к нашим народам, которое формируется в России, должны принять на себя мы все. Я недавно был в Сургуте, выступал там перед студентами. Вхожу в аудиторию, спрашиваю: кто здесь из Дагестана? Оказалось - больше половины. И тогда я стал очень жестко с ними говорить. Я спросил: как вы могли сделать так, что один из красивейших танцев на свете, танец, в котором заложена модель правильного отношения мужчины к женщине - лезгинка, - стал вызывать у русских раздражение? Как вы могли сделать так, что ваш родной язык стал восприниматься враждебно в России? Я сказал им, что это они ответственны за то отношение к их народу, которое сложилось у русских. Да, я их, возможно, ругал, но по-отечески, с любовью! При этом рассказывал им об удивительном человеке, горячо мною любимом, почитаемом - великом имаме Шамиле, о котором они - либо знают мало, либо имеют искаженное представление. Это был человек, который воевал с Россией, а потом полюбил ее, дай Бог нам всем любить Россию, как полюбил ее имам Шамиль. Ведь когда он спросил князя Барятинского: «Как я могу выразить мою любовь к государю?» - князь ответил: «Только принять русское подданство, иного пути нет». И тогда имам Шамиль написал письмо, которое впоследствии назовут его духовным завещанием. Когда читаешь его, горло перехватывает, потому что имам пишет - об обретении народами Кавказа «нового дорогого Отечества». Он призывал соплеменников: «Никогда не ходите войной на Россию». Его, конечно, обвиняли, и обвиняют до сих пор: как же, такой великий воин, имам - и сдался! Но он пожертвовал своей честью, чтобы спасти народы Кавказа.

Мы с вами говорили о том, что можно родиться русским и русским не стать. Как у Игоря Северянина: «Родиться русским - слишком мало:/Им надо быть, им надо стать!». Есть сколько угодно природных русских людей, которые ни разу порога Церкви не переступали. А имам Шамиль, когда жил в Калуге, очень хотел присутствовать на русском богослужении, и не мог - догадываетесь почему? Мусульманин, тем более имам, не может на людях снимать головной убор, он должен всегда быть в шапке. А оскорбить нашу веру, войдя в храм в шапке, он тоже не мог. Так представьте же себе, как велико было его желание видеть православное богослужение, если в калужской церкви Георгия Победоносца специально для него сделали наружную пристройку и прорубили окно в храм! Вот какой это был человек! Ему было интересно, чему и как учат детей в русской гимназии. И он ходил по ней, и радовался как ребенок в кабинете физики, когда ему показали действие магнита на железные опилки. И очень удивлялся, зачем среди учебных предметов русский язык: «Они же и так его знают, они же русские!».

Я рассказывал этим студентам-дагестанцам об их великом земляке, чтоб дать им пример отношения кавказца к России, к русской культуре. Эти ребята - они разные, конечно, они в большинстве своем хорошие, но я им сказал: расхлебывать-то в конечном итоге мы все с вами будем. Они были очень довольны, они мне устроили овацию, потом мы с ними еще долго общались и вместе фотографировались.

Когда мы с женой приняли очень трудное для нас решение навсегда оставить Баку и переехать в Москву, я впервые столкнулся здесь с этим словосочетанием: «лицо кавказской национальности». Конечно, оно меня коробило. Я свою национальность менять не собираюсь. То, что на обложке первой моей книги, которая уже восьмое издание выдерживает - «Тайна русско-

го слова», - есть подзаголовок «Заметки нерусского человека», - для меня очень важно. Но когда один мой земляк начал мне жаловаться: «Ну что делать в России нам, лицам кавказской национальности?» - я ему ответил. И тем ребятам-дагестанцам ответил. И вам сейчас отвечу. Лицу кавказской национальности в России нужно стать личностью кавказской национальности. А для этого надо работать над собой каждый день, и каждый день доказывать, что ты - личность кавказской национальности.

- Сойдем все же с национального вопроса, он ведь не единственный, и сегодня, может быть, даже не самый болезненный. Как нам строить отношения с людьми, которые не хотят видеть Россию православной? Как относиться к тем, кто ненавидит Церковь, намеренно ведет с нею информационную войну, поддерживает кощунства? К тем, кому не терпится перенести на нашу почву западные понятия о «толерантности»? Кому, наконец, по известному выражению Столыпина, великие потрясения нужны, а не великая страна?

- Относиться к этим людям нужно с любовью. Но здесь все дело в том, что подразумевать под словом «любовь». В современном обществе под любовью подразумевается некое губошлепство приторное. Все эти валентинки-эсмэски! На самом деле любовь - самая строгая вещь на свете. Строгость любви к заблуждающимся должна заключаться, во-первых, в том, чтобы называть вещи своими именами. Заблуждение - заблуждением, преступление - преступлением, порок - пороком. Я перенес семь операций, очень страдал после них, потому что очень тяжело идет процесс послеоперационный, но эти хирурги, которые операции делали, - они ведь причиняли мне боль для моей же пользы, правда? Таким образом проявлялась их любовь ко мне. А во-вторых, строгая любовь наша должна заключаться в том, чтобы действовать справедливо и, главное, - не предавать. Ибо сказано: Не давайте святыни псам... (Мф. 7, 6). Действовать, не забывая при этом, что вера наша учит различать грешника и грех, жалея первого и ненавидя второе.

И, конечно же, помнить, что нет «национальных» страстей, ибо порок, если можно так выразиться, интернационален. В свое время меня поразили слова епископа Никольск-Уссурийского Павла (Ивановского) из «Краткого устава жизни православного христианина», впервые изданного еще в 1915 году: «Все инородцы - наши братья, хотя и не такие близкие, как единоплеменники и единоверцы. Ведь всех Господь Бог сотворил из одной персти (земли), вдунул одну душу, всех венчал одинаковым достоинством, - малым чем умалив от ангелов (Пс. 8, 6), и всем людям желает спастись и в разум истины прийти. Поэтому по заповеди Божией мы обязаны всех людей любить и всем делать добро (см.: Гал. 5, 14), даже врагам и ненавидящим нас (см.: Мф. 5, 44). О любви деятельной ко всем ближним, к инородцам и иноверцам Господь сказал в притче о милосердном самарянине (см.: Лк. 10, 37-37), увещевая нас быть сынами Отца Небесного, Который повелевает солнцу сиять над добрыми и злыми, праведными и неправедными (см.: Мф. 5, 45-48). К сожалению, у нас к инородцам и иноверцам далеко не всегда наблюдается доброжелательное отношение, особенно среди простонародья, причем называют инородцев - «тварями», «погаными», стремятся их унижить, оскорбить, причинить им вред. Поступающие так христиане нарушают заповедь Божию о любви ко всем людям и на свою голову собирают гнев Божий»...

Конечно, нельзя не учитывать, что слова эти были произнесены в совершенно иной демографической и социально-политической ситуации...

- По сути, Вы все время говорите о преодолении ненависти, о выходе из нее. Но иногда бывает так, что нет выхода. Например, то, что произошло и происходит на Украине, все эти мифические перемирия, в которые уже заранее не верит никто... Где там выход из взаимной ненависти?

- На Украине никакой взаимной ненависти нет. Ненавидит одна сторона, та, что объявила войну Русскому миру. Недавно прочитал в одной газете заголовок: «На Украине русские убивают русских». Это неправильный заголовок, его написал человек, который неглубоко понимает эти вещи. Те, кто сейчас там убивает, - это не русские люди, нет, невзирая на их фамилии, происхождение, на то, что они говорят по-русски. Мы с вами опять вернулись к началу: человек, не родившийся русским, может русским стать, а родившийся таковым может просто не вырасти в русского, выродиться. Ведь русскость - это не состояние какое-то, дарованное раз и навсегда. Это некий градус - как температура тела здорового человека. Так вот, мы имеем дело с людьми больными. А губительный вирус, которым они заражены, заокеанского происхождения.

Есть такое понятие - «полнота русскости». Эта полнота наступает только тогда, когда ты становишься верным чадом Русской Церкви. Вспомним слова героя романа Ф. М. Достоевского

«Бесы» Ставрогина: «Атеист не может быть русским. Атеист тотчас же перестает быть русским». А там, на Украине, объявлена война языку и вере, Церкви нашей. Какие же они русские? Но удивляться не надо. Мир всегда шел и идет против Христа и Церкви, происходит только то, что должно происходить, мы же все читали Апокалипсис. Христос сказал: враги человеку - домашние его (Мф. 10, 36). Украина - это наши домашние, вот от них-то мы и получили самый болезненный удар. Но тут мы тем паче должны поступать с той любовью, о которой я уже говорил.

- И каким же образом здесь можно проявить любовь?

- А как проявили ее в январе монахи Киево-Печерской Лавры и Десятинного монастыря в Киеве? Они встали цепью между враждующими сторонами на Майдане. Я близко знаю одного из них, это архимандрит Алипий (Светличный). Мы переписываемся с ним в «Фейсбуке», и он очень интересные слова сказал о тех священниках, которые были на Майдане и призывали воевать: «У них какой-то другой “христос”». Не с заглавной уже Христос, а со строчной буквы. Когда у человека Христос на первом месте, тогда все остальное встает на свои места. Нам надо научиться, наконец, любить Христа, и тогда мы научимся правильно любить врагов. Трезвой, строгой любовью.

- Есть такая любовь к своему - к народу, языку, Родине, - которая все иное сразу делает враждебным, как минимум - чужим. Вы - за другую любовь?

- Я не приемлю уранополитизма - есть такое учение, которое противопоставляет Небесное Отечество земной Родине. А коль так, то получается, что христиане не должны привязываться ни к чему земному, в том числе и Отечеству. Но как хорошо сказал об этом Н.В. Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материальная скотина, но высокий гражданин высокого небесного гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить жизнью небесного гражданства, до тех пор не придет в порядок и земное гражданство». И у него же в одном из писем дипломату и духовному писателю А.С. Стурдзе - удивительное прозрение о России: «...Да и вообще Россия все мне становится ближе и ближе. Кроме свойства родины, есть в ней что-то еще выше родины, точно как бы это та земля, откуда ближе к родине небесной». И это признание великого русского писателя мне необычайно дорого. Вот и аз, грешный, азербайджанец по рождению, дерзаю вторить столь любимому мною малороссиянину: в России Бог ближе.

И в самом деле, человек, не сумевший полюбить собственных родителей жертвенной любовью, сможет ли с любовью и уважением отнестись к чужим отцу и матери?

С возрастом те черты, которые действительно не украшают азербайджанский народ, стали для меня еще более неприемлемы, но вместе с тем так ясно обозначилось все хорошее, что есть в моем народе. Так что мое возрастание в русскости пошло только на пользу моей любви к Азербайджану. Русскость - это очищающее, это вселенское понятие. Когда человек возрастает в русскости - он уподобляется ракете, выходящей в космос: биологическая ступень отваливается первой. Потому что если цепляться за биологическое, то как далеко от нас окажутся наши святые!

Святитель Лука Крымский (ему как святому были, наверное, открыты какие-то тайны, хотя он об этом не говорил открыто - но иногда у него это как-то прорывалось) в проповеди своей, произнесенной в 1949 году, говорил, обращаясь к тем, кто спасется: когда мы окажемся в Царстве Небесном, мы увидим, как нам навстречу в долину с холмов спускаются патриархи, мученики, преподобные, а впереди всех - святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских. Вот кто будет встречать русских людей в Царстве Божиим - грек, родившийся в Малой Азии за полтысячелетия до того, как Русь крестилась. Вы знаете более русского святого, чем он?

В моем бакинском детстве мы часто ходили в гости к нашим русским соседям, друзьям, и едва ли не в каждом доме была бабушка. Удивительные эти бабушки советской власти будто и не замечали, жили в своем мире: ходили в церковь, молились, на Пасху пекли куличи. И у каждой непременно была иконка Николая Чудотворца, Николы Угодника, как они его называли. Я не мог сомневаться, что Никола - это русский человек. И тем самым уже тогда, в детстве, соприкоснулся с тайной русскости, о которой у Ф.М. Достоевского сказано, что русский человек - это вселенский человек.

Вот еще о чем не могу не сказать. Сегодня столько мути поднимается на наших глазах, столько демагогии бесстыдной, столько обвинений против Отечества нашего. Начиная от сетований в связи с утратой возможности поглощать сыры элитных сортов и вплоть до утверждений о том, что «в этой стране», как называют Россию некоторые из ее граждан, жить невоз-

можно. Хотелось бы привести отрывок из удивительного рассказа отца Ярослава Шипова «Уездный чудотворец». Напомню, в этом эпизоде молодой барин, уstraшенный надвигающейся смутой, зовет с собою в Париж деревенского фельдшера Ивана Фомича со всею его семьей, зная не понаслышке о его удивительных способностях излечивать людей. «Я назначу хорошее жалованье, - говорит он. - Вы совсем не то, что эти бездушные городские доктора...» Фельдшер выслушал, за доверие поблагодарил, а потом и отвечает молодому барину: «Это невысказанное дело». - «Вы же нищий здесь, а там озолотитесь», - возражает тот. Иван Фомич даже растерялся, услышав такую, по его мнению, несусветную глупость от образованного человека: «Как же можно? Да за право жить здесь и заплатить можно». А барин снова: «Если б жить, а то страдать, мучиться, терпеть издевательства, а потом погибнуть какой-нибудь пустой, нелепой смертью». - «За право умереть здесь, - отвечает старый фельдшер, - тем более заплатить следует».

Разве ж это не счастье - жить и умереть в России? А умереть за Россию - это еще и награда. Для меня это так понятно, так очевидно. Вы честно спросили - я честно ответил.

Журнал «Православие и современность» № 32 (48) 22 апреля 2015 г.

Беседовала Марина Бирюкова.

**Сильный не тот, кто может положить на лопатки одним взглядом,
А тот, кто одной улыбкой способен поднять с колен. Умалат.**

Я люблю тебя, Русь...

Я люблю тебя, Русь,
край березовых рощ и дубрав.
Твоих рек синеву
и озер бирюзовые чаши,
Зелень диких полей
и лесные глубокие чащи
Потерять не хочу,
на чужбину тебя променяв.
Дорог мне несказанно
каждый твой луговой василек,
Каждый черный кружочек
на спинке у божьей коровки,
Что так мирно ползет
вдоль кармана моей гимнастерки,
Потемневшей от пота
и пыльных солдатских дорог.
Без твоих тихих сел
и шумливых больших городов,
Златоглавых церквей
и прямых, как свеча, колоколен,
Звон которых забыть
и по смерти своей я не волен,
Знаю, Русь, что прожить
и минуты одной не готов.
Лучше смерть мне принять
от коварной холопской руки,
Опрокинувшей дерзостно
царский престол в одночасье,
Чтоб испытать до конца
эту скорбную, горькую чашу,
И навеки залечь
в голубые, как даль, васильки.

Е.В. Новицкий. Украина.



Мольба

Прими, Господь, усердную мольбу!
Всех нас простив, врагов не покарай!
Помилуй нечестивую толпу,
Путей к добру её Ты не лишай.
Как без Тебя всех к благу обратить!
Кто зло творил, сумеет ли любить?
Прости, Господь, что в скорби и печали
Спасения в Тебе рабы не зрят,
Что друг на друга сильно осерчали...
Который раз к войне тропу торят!
Прошу, Господь, на земли наши
Излей единство и покой!
Чтоб нивы церкви были краше,
И Русь всегда была святой

Александр Лазутин.
Сайт «Свете Тихий»

К теории флирта

Так называемый «флирт мертвого сезона» начинается обыкновенно - как должно быть каждому известно - в середине июня и длится до середины августа. Иногда (очень редко) захватывает первые числа сентября.

Арена «флирта мертвого сезона» - преимущественно Летний сад. Ходят по боковым дорожкам. Только для первого и второго rendez vous допустима большая аллея. Далее пользоваться ей считается уже бестактным.

«Она» никогда не должна приходить на rendez vous первая. Если же это и случится по оплошности, то нужно поскорее уйти или куда нибудь спрятаться. Нельзя также подходить к условленному месту прямой дорогой, так, чтобы ожидающий мог видеть вашу фигуру издали. В большинстве случаев это бывает крайне невыгодно. Кто может быть вполне ответствен за свою походку? А разные маленькие случайности вроде расшалившегося младенца, который на полном ходу ткнулся вам головой в колена или угодил мячиком в шляпу? Кто гарантирован от этого?

Да и если все сойдет благополучно, то попробуйте-ка пройти сотни полторы шагов, соблюдая все законы грации, сохраняя легкость, изящество, скромность, легкую кокетливость и вместе с тем сдержанность, элегантность и простоту. Сидящему гораздо легче. Если он мужчина - он читает газету или «нервно курит папиросу за папиросой». Если женщина - она задумчиво чертит по песку зонтиком или, грустно поникнув, смотрит, как догорает закат. Очень недурно также ощипывать лепестки цветка. Цветы можно всегда купить по сходной цене тут же около сада, но признаваться в этом нельзя. Нужно делать вид, что они самого загадочного происхождения.

Итак, дама не должна приходить первая. Кроме того случая, когда она желает устроить сцену ревности. Тогда это не только разрешается, но даже вменяется в обязанность.

- А я уже хотела уходить...

- Боже мой! Отчего же?

- Я ждала вас почти полчаса.

- Но ведь вы назначили в три, а теперь еще без пяти минут...

- Конечно, вы всегда окажетесь правы.

- Но ведь часы...

- Часы здесь ни при чем.

Вот прекрасная интродукция, которая рекомендуется всем в подобных случаях. Дальше уже легко. Можно прямо сказать:

- Ах да... Между прочим, я хотела у вас спросить, кто та дама... и т. д.

Это выходит очень хорошо.

Еще одно важное замечание: сцены ревности всегда устраиваются в Таврическом саду. Отнюдь не в Летнем. Почему? А я почему знаю - потому! Так уж принято. Не нами заведено, не нами и кончится. Да кроме того, попробуйте-ка в Летнем! Ничего не выйдет. Таврический специально приновлен. Там и печальные дорожки, и тихие пруды («Я желаю только покоя!..»), и вид на Государственную Думу («...и я еще мог надеяться!»). Да, вообще, лучше Таврического сада на этот предмет не выдумаешь. Одно плохо: в Таврическом саду всегда страшно хочется спать. Для бурной сцены это условие малоподходящее. Для меланхолической - великолепно.

Если вам удастся зевнуть совершенно незаметно, то вы можете поднять на «него» или на «нее» свои «изумленные глаза, полные слез», и посмотреть с упреком. Если же вы ненароком зевнете слишком уж откровенно, то вы можете, скорбно и кротко улыбнувшись, сказать: «Это нервное». Вообще, флиртующим рекомендуется к самым неэстетическим явлениям своего обихода приурочивать слово «нервное». Это всегда очень облагораживает.

У вас, например, сильный насморк, и вы чихаете, как кошка на лежанке. Чиханье, не правда ли, всегда почему-то принимается как явление очень комического разряда. Даже сам чихнувший всегда смущенно улыбается, точно хочет сказать: «Вот видите, я смеюсь, я понимаю, что это очень смешно, и вовсе не требую от вас уважения к моему поступку!» Чиханье для флирта было бы губительным. Но вот тут-то и может спасти вовремя сказанное: «Ах! Это нервное!» В некоторых случаях особо интенсивного флирта даже флюс можно отнести к разряду нервных заболеваний. И вам поверят. Добросовестный флиртёр непременно поверит.



Ликвидировать флирты мертвого сезона можно двояко. И в Летнем саду, и в Таврическом. В Летнем проще и изящнее. В Таврическом нуднее, затяжнее, но эффектнее. Можно и поплакать, «поднять глаза, полные слез»...

При прощании в Летнем саду очень рекомендуется остановиться около урны и, обернувшись, окинуть последний раз грустным взглядом заветную аллею. Это выходит очень хорошо. Урна, смерть, вечность, умирающая любовь, и вы в полуобороте, шляпа в ракурсе... Этот момент не скоро забудется. Затем быстро повернитесь к выходу и смешайтесь с толпой.

Не вздумайте только, Бога ради, торговаться с извозчиком. Помните, что вам глядят вслед. Уж лучше, понунив голову, идите через цепной мост (ах, он также сбросил свои сладкие цепи!). Идите, не оборачиваясь, вплоть до Пантелеймоновской. Там уже можете купить Гала Петера и откусить кусочек.

Считаю нужным прибавить к сведению господ флиртеров, что теперь совсем вышло из моды при каждой встрече говорить:

- Ах! Это вы?


Теперь уже все понимают, что раз условлено встретиться, то ничего нет и удивительного, что человек пришел в назначенное время в назначенное место. Кроме того, если в разгар флирта вы неожиданно натолкнетесь на какого-нибудь старого приятеля, то вовсе не обязательно при этом восклицание:


- Ах! Сегодня день неожиданных встреч. Только что встретила с... (имярек софлиртующего), а теперь вот с вами!

Когда-то это было очень ловко и тонко. Теперь никуда не годится.

Старо и глупо.

Надежда Тэффи

 Только у баранов послушные овечки.
У льва – гордая львица!

Прямых речей от женщины не жди 
в ее «Уйди!» - звучит "не уходи".
Шекспир.



Хожу, брожу понурый,
Один в своей норе.
Придёт шарманщик хмурый,
Заплачет на дворе...
О той свободной доле,
Что мне не суждена,
О том, что ветер в поле,
А на дворе - весна.
А мне - какое дело?
Брожу один, забыт.
И свечка догорела,
И маятник стучит.
Одна, одна надежда
Вон там, в её окне.
Светла её одежда,
Она придёт ко мне.
А я, нахмутив брови,
Ей в сотый передам,
Как много портил крови
Знакомым и друзьям.
Опять нам будет сладко,
И тихо, и тепло...
В углу горит лампадка,
На сердце отлегло...



7 декабря 1906

Зачем она приходит
Со мною говорить?
Зачем в иглу проводит
Весёленькую нить?
Зачем она роняет
Весёлые слова?
Зачем лицо склоняет
И прячет в кружева?
Как холодно и тесно,
Когда её здесь нет!
Как долго неизвестно,
Блеснёт ли в окнах свет...
Лицо моё блее,
Чем белая стена...
Опять, опять сробею,
Когда придёт она...
Ведь нечего бояться
И нечего терять...
Но надо ли сказаться?
Но можно ли сказать?
И что ей молвить - нежной?
Что сердце расцвело?
Что ветер веет снежный?
Что в комнате светло?



А. БЛОК.

Уездный чудотворец

Рассказ

Иван Фомич родился в крошечной глуши. Детство и юность его скрылись за непроглядной мглой времен, и никто никогда уже не расскажет ни о его отце, ни о матери, ни о той школе, где он изучал «аз, буки, веди, глаголь, добро», - памяти об этом на земле не осталось.

Потом наступил двадцатый век, произошла русско-японская, и юношу мобилизовали. Первое дело, в котором ему довелось участвовать, случилось не под Мукденом и не под Ляояном, а значительно ближе - на перегоне Галич-Шарья. Здесь был обнаружен труп офицера, выпавшего из предыдущего поезда, и новобранцу приказали охранять этот труп до прибытия судебно-медицинских экспертов. Господин полковник самолично предупредил: «Дело это - государственной важности».

Остался Иван караулить - начальство обещало, что утром приедут доктор и прокурор. «А может, сам господин генерал пожалует», - обронил между прочим полковник.

Было полнолуние, глаза мертвеца и начищенные сапоги его жутко блестели, но Иван не отходил ни на шаг - исполнял маневр. И пролетали паровозы, осыпая что живого, что мертвого искрами, обдавая паром, дымом и кислым запахом перекалившегося угля. Как еще его бутылкой не уколошили - прямо над головой просвистела.

Потом вдруг - поздно ночью уже - послышался вдалеке разговор. Иван насторожился. Глядит - человек идет.

- Стой!

- Это я, - говорит, - Нюра. - Баба, стало быть.

- А кто еще с тобой?

- Никого, одна я.

Подошла, увидела труп, заверещала, да к солдату на грудь: «Ой, боюсь! Ой, умираю! Ой, не могу!»

- А с кем это ты разговаривала?

- Ах, это вам пришло.

- Да как вроде разговаривала.

- Ну, может, если только сама с собой, чтобы не так боязно было. Ну проводите же, а то я в обморок упаду или совсем умру, - и падает.

Испугался Иван, подхватил бабу:

- Так и быть, провожу, но недалеко: мне никак нельзя отлучаться, государственной важности...

- Ну хоть сколько-нибудь, а то такой интересант и такой бессердечный: я ведь совершенно умереть могу.

Повел он ее, а самому все чудится: шебаршит за спиной кто-то... Но только обернется, Нюра сразу: «Ах, умираю», - хватя его за рукав и виснет. Сколько-то протацились, бабешка поуспокоилась, поухнула.

- Благодарствую, - говорит. - Дальше я и сама дойду. Извиняйте, что оторвала вас от военного дела.

Расстались. Возвращается доблестный воин, а подшефный его - без сапог. Вот те и Нюра! Стало быть, не одна она шла, а в компании... Сапоги же, надо сказать, стоили в ту пору больших денег. Ну, понятное дело, Ивана тут охватило отчаянье. Такое отчаянье, что другой кто не выдержал бы и руки на себя наложил. Однако парень воспитан был в сильной церковной строгости, он полагал самоубийство тяжчайшим грехом, да и приказ выполнять следовало.

Прибывшие утром эксперты обнаружили Ивана босым, а офицера - в обмотках. Посмеялись, а потом старший из офицеров спросил:

- Грамотен?

- Так точно. Читать и писать умею.

- Будешь учиться на фельдшера... Здоров, грамотен, честен, с трупом обходишься по-людски; что еще надо?

Так Иван оказался при госпитале. Тут как раз начались сражения, и учеба пошла донельзя споро. Круглые сутки везли раненых, хирурги махали ножами с виртуозностью кавалерийских рубак: ампутированные руки и ноги летели - знай успевай выносить, кровь лилась со столов на земляной пол, гнила в земле и смердила.



С войны Иван Фомич возвратился фельдшером. Военным фельдшером. То есть умеющим оказывать милосердную помощь пострадавшим от пуль, штыков, сабель, огня и осколков. Для мирного времени этого не хватало. Поэтому пришлось съездить в губернию на акушерские курсы, потом - на курсы дантистов и наконец на ветеринарные.

Родной городишко его располагался в такой труднодоступности, что доктора сюда почти не попадали. А если и попадали, то уж не задерживались. Лечить же и народ, и скотину, невзирая на незавидное расположение, было надобно. И он лечил. Но дело, строго говоря, не в этом - не в общественной полезности его труда; полезность очевидна, бесспорна, и более к сему ничего не добавишь. Дело в том, что жизнь свою Иван Фомич воспринимал до невероятности однозначно - как служение. Он полагал, что в этом служении его человеческий долг на земле, и нисколько не роптал на неудобства, неизбежно сопутствующие подобному отношению к цели своего бытия: в любое время, в любую погоду за фельдшером можно было прийти, и он, не поворчав и не вздохнув даже, смиренно отправлялся к больному.

Денег Фомич не брал. Между тем семья у него была немаленькая - шестеро детей. То есть всего - девятеро, но трое умерли во младенчестве. Вся эта семья жила на фельдшерское жалованье, ну и, само собой, огород выручал. Можно предположить, что супругу этакая стойкость по отношению к материальным соблазнам не приводила в восторг, однако сознание деревенской женщины не было помрачено туманом эмансипации: она имела ясное представление о своем месте и потому никаких претензий к Ивану Фомичу никогда не высказывала. Возможно, именно это обстоятельство и придавало их семейной жизни необыкновенную прочность.

А еще Иван Фомич сроду ничего не копил, да и домашним не позволял. Он говорил так: если у тебя копится, значит, кому-то недостает.

Каким образом шло развитие этой натуры - неведомо. Одно точно: душа его, выпестованная катехизисом и молитвой, оказалась вполне подготовленной к пожизненному служению милосердием.

Женился он романтически - невесту взял из Трескова, самой волчьей деревни во всем уезде. Надлежит указать, что в местности той и сейчас волков тьма-тьмушая, а тогда - воображением не охватишь. Иван Фомич хранил на крыльце заряженное ружье и неоднократно бивал зверей прямо во дворе, огороженном, как и все прочие дворы этого города, высоченным глухим забором.

Зимой дело было, ехали в санях, - а от Трескова езды верст десять, - волки и налетели. Передал Иван вожжи невесте, сам - отстреливаться. И все бы благополучно, да один пустяк: с невесты платок сорвало. Потом, когда уже спаслись от волков, разыскали и чем повязать невесту - все ж не с пустыми руками она ехала, кое-какое приданое везла. Вскоре, однако, дня через два-три, открылась у нее простуда, стали побаливать уши. Иван Фомич перепробовал известные ему средства, свозил супругу к губернским врачам, но слух ее все слабел. Через несколько лет она оглохла.

Впрочем, и это обстоятельство не ослабило их взаимной привязанности - привязанности, которую каждый из них хранил до последних дней: Иван Фомич ненадолго пережил свою суженую, умер он на ее могиле.

Печальному сему событию суждено было произойти в тысяча девятьсот сорок шестом году, женился же фельдшер в тысяча девятьсот шестом, то есть впереди еще оставалось сорок лет жизни.

Три года из сорока ушли на очередную войну - империалистическую, которую Иван Фомич добросовестно отработал в полевых лазаретах двух фронтов: сначала - отступавшего Северо-Западного, затем - блистательно наступавшего Юго-Западного. Домой попал в самом конце семнадцатого года. Не успела благоверная высушить слезы радости, как в дверь постучали и на порог ввалился мужик:

- Спаситель! Приехал! Батюшка! Иван Фомич! Дите помирает!..

- Иду, голубчик, иду. Сейчас... Только вот саквояжик возьму...

С саквояжем этим Иван Фомич в мирной жизни не расставался. На ярмарку ли идет, на рыбалку - всегда в руке саквояж. Даже на охоту таскал - через плечо, вместо ягдташа; бродит, бродит по лесу, выйдет к какой-нибудь деревеньке - погреться, чайку попить, заодно и с народишком пообщается: того послушает, тому порошочков даст, тому ранку полечит. А хозяевам, которые его угощали, обязательно дичину оставит - рябчиков, тетерочку: даже пустячной прибили не сносил.

Бывало, спешит со своим саквояжиком по узенькому дощатому тротуару - они сохранились в городе и поныне, - навстречу священник. Остановится Иван Фомич:

- Эх, батюшка, грешен я, грешен - воскресную службу пропустил.

Тот ему:

- Да что ты, отче?! Если и есть душе твоей сокрушение, так в этом мой грех - мало, значит, молюсь за тебя. Ты уж беги, беги, не останавливайся. - Благословит фельдшера, да еще и вслед не единожды осенит крестным знамением.

Жил некогда в уезде до чрезвычайности богатый помещик. Прославился он тем, что в годы подготовки реформы сам попросил у государя вольную для своих крестьян. Государь, надо полагать, увлекся возможностью произвести пробу и высочайшим рескриптом пожаловал всем его крепостным вольную.

Освобождение они восприняли как знак барского недовольства: начались обиды, народом овладело уныние, и барину большого труда стоило вернуть в свои земли уверенность и покой. Ни один человек дома родного не оставил.

Об обстоятельствах опыта и о поистине идиллическом его завершении было, разумеется, доложено государю. Что думал он по этому поводу, мы уже не узнаем, но известно, что помещик, о котором идет речь, был образцом не самым типичным, и потому едва ли многого стоил опыт с его крепостными. Дело в том, что человек этот являл собою пример охотничьей безграничности, то есть, с одной стороны, он и страсти своей предавался безгранично, а с другой - охотничья его известность не признавала ни уездных, ни губернских, ни даже государственных границ.

Крестьяне, ему принадлежавшие, ничего не сеяли, но занимались прасольством, то есть закупкой и перепродажей скота. А когда из Москвы приезжал барин... нет, не так... Когда барин, скакавший словно на сечь, влетал наконец в свои угодья, крестьяне отбрасывали всякое полезное дело и, надрывая глотки, вопили «ур-ра!». Начиналась охота: гончие, борзые - праздник! Интересно, что угодья его резко отличались от окружения: просторнейшие луга с оврагами и островками леса - чистая полустепь, тогда как на много верст кругом - буреломы, и всё предремучие.

Отохотившись, он убывал в Москву, и снова по деревням тишь да спокойствие. Чего ж оставлять такого барина? Конечно.

Как-то гоняли лису - не складывалась охота, долго гоняли. И вот, когда собаки должны были уже взять зверя, баба-дура возникла: как получилось - никто не видел. Подскакал барин к лесу: баба орет, борзые рядом стоят, а лисы нет. В сердцах стеганул бабу арапником, развернулся да и назад. Вечером сказали ему, что баба преставилась: по горлу он ей попал...

Барин положил пенсион сиротам, вышел в отставку, поселился в Москве, ходил ежедневно в церковь, подавал нищим и через несколько лет умер со словами: «Нет мне прощения и не будет».

Сын его совершенно не имел черт, сделавших известность отцу. Да это и понятно: воспитывался он в то время, когда отец безуспешно усердствовал на ниве искупления тяжкой вины. Молодой барин вырос человеком необычайно сдержанным - и в движениях, и в словах. Получив значительное образование, он начал серьезно заниматься экономической наукой и попал в число тех, кто волею обстоятельств был подвигнут на поиски выхода из смятения, в котором после японской войны пребывала Россия.

Люди эти, известно, взялись за дело резво, и Европа вскорости поняла, что если не втянуть Россию в новую войну, ее, быть может, уже и не остановишь...

Ивану Фомичу пришлось как-то принимать роды у жены молодого барина; однажды он выдергивал зуб самому помещику; но более всего семья эта подружилась с фельдшером, когда он вылечил старого кучера. Старик был мужем несчастной бабы, некогда убитой арапником, и молодой барин, взваливший на себя бремя отцовского долга, умолял спасти бедолагу. Фельдшер легко проникался чужой виной и бедой, но - чахотка... Разве ее одолеешь?

Отступила, однако. Почему? Фельдшер не знал - лекарств у него не было. Лечил он более всего молитвами и разговором.

Если барин был молчалив, то уж кучер - напротив: и кашляет, а все бормочет. От него фельдшер узнал, что у молодого барина много врагов.

- Как же так? - не понял Иван Фомич. - Он ведь вроде за мужика, за Россию...

- В точности, - согласился старик. - За Россию, за мужика, оттого и враги.

- Да кто же они?

- Книжники и фарисеи, - удивляясь фельдшеру недоумению, объяснял больной, - кто ж еще? Враги у нас одни и те же... аж до самого второго пришествия.

А затем сообщил и главный секрет:

- Скоро развалюция будет.

Но это Иван Фомич совсем уже отказывался понимать.

В ноябре сорок первого фельдшер сумел предсказать дату контрнаступления под Москвой.

Дело было в больнице. Хворый народ рядил, гадал, и все упиралось в двадцать первое декабря - в день рождения вождя нашего.

- Устрашительно, - согласился фельдшер. - Очень даже. Но сподручнее все-таки шестого - в день Александра Невского. Единственный святой, который бил немца, так что подходяще шестого начать.

Вскоре, понятное дело, его разлучили с женой и, по слухам, пригрозили легонько: мол, держись теперь, мракобес, доберется до тебя товарищ Емельян Ярославский! Но тут как раз подоспела сводка о начале контрнаступления, и фельдшер оказался в совершенных героях - одни стали приписывать ему дар прорицания, другие поговаривали о его тайных - через посредничество воюющего на фронте сына - связях со ставкой. А он лишь недоумевал: когда, как не на Александра Невского, начинать подобное дело? Чего же тут непонятного?

В конце сорок четвертого он предсказал еще, что окончится война «на Егория», потому как и «главный полководец у нас Егорий», да и вообще - «так сподручнее». То ли он староват стал, то ли ход его рассуждений был на сей раз недостаточно точен, только уж просчитался фельдшер. Чуть-чуть, в три денька, а просчитался. Случись такое в сорок первом году - несдобровать бы ему, а тут - простили. Правда, пожурили для строгости: «Жаль, не слышит тебя теперь товарищ Емельян Ярославский», - но простили. Хотя к «Егорию» война фактически и закончилась, так что ошибка имела характер, можно сказать, формальный.

Когда умерла супруга, Иван Фомич стал пропадать на погосте. Народ отыскивал его и здесь. И фельдшер, по обыкновению безропотно, отправлялся, куда вызывали.

На погосте он и упокоился. Саквояжик в этот час был при нем.

священник Ярослав Шипов

(Из сборника "Лесная пустынь", 2009 года)

“Способным завидуют. Талантливым вредят. Гениальным мстят”.
Никколо Паганини.



Разве ты объяснишь мне - откуда
Эти странные образы дум?
Отвлеки мою волю от чуда,
Обреки на бездействие ум.
Я боюсь, что наступит мгновенье,
И, не зная дороги к словам,
Мысль, возникшая в муках творенья,
Разорвет мою грудь пополам.
Промышляя искусством на свете,
Услаждая слепые умы,
Словно малые глупые дети,
Веселимся над пропастью мы.
Но лишь только черед наступает,
Обожженные крылья влача,
Мотылёк у свечи умирает,
Чтобы вечно пылала свеча!

Николай Заболоцкий. Россия.



Доктор встречает своего давнего
пациента.

- Здравствуйте, вы на удивление
хорошо выглядите! Как ваша
язва?

- Уехала на неделю к матери!

Милость Божия

Всеми гонимый, всеми поруганный,
В рубище жалком, с тощей сумой,
Шел, на собак озираясь испуганно,
Сломленный жизнью старец седой.

К людям с мольбою протягивал руку,
Плакал, крестился и тряс бородой,
И отражалась ужасная мука
В тусклых глазах, иссушенных слезой.

Тонкую руку отталкивал грубо
Всякий прохожий: «Ступай себе, хам».
Мелко дрожали у нищего губы,
Слезы катились по впалым щекам.

Глядя уныло на сумку пустую,
С горечью в сердце старик заключил:
«Нет упования на милость людскую,
Да и Господь меня, верно, забыл».

Зноем томимый, присел осторожно,
Взгляд опустил и застыл как гранит:
Прямо у ног на песке придорожном
Солнечной каплей червонец блестит...

Е.В. Новицкий. Украина.

ГОГОЛЬ ПРОТИВ ШЕВЧЕНКО



Портрет Гоголя –
работы Тараса Шевченко.

Н.В. Гоголь и Т.Г. Шевченко относятся к плеяде великих деятелей литературы и искусства России. Оба они были уроженцами Малороссии (Гоголь родился 20-3-1809 в местечке Сорочинцы, Миргородского уезда Полтавской губернии. Шевченко появился на свет Божий 25-2-1814 в с. Моринцы, Звенигородского уезда, Киевской губернии).

Оба рано умерли: Гоголь 21-2-1852 в Москве; Шевченко 26-2-1861 в Петербурге. Первый не дожил до своего сорока трехлетия менее месяца; второй - оставил мир земной в сорока семилетнем возрасте, также в расцвете творческих сил.

И Гоголь, и Шевченко - классики не только русской, но и мировой литературы. Оспаривать этот факт было бы нелепо. То, что признано миром, не может быть опровергнуто субъективным непризнанием отдельных лиц...

Однако, что бросается теперь резко в глаза: кумиром нынешней Украины, её символом и национальным знаменем всё более становится не Гоголь, чей талант многими современниками оценивался несравненно выше, нежели у земляка-малоросса, а Шевченко. Сопоставлять таланты, впрочем, - дело весьма сложное и едва ли корректное в принципе. Да и не изобрели ещё в мире тех весов, на которых можно было бы взвесить и тех измерительных приборов, которыми можно было бы измерить величину и степень даровитости, талантливости и гениальности. Другое дело, попытаться оценить значение каждого как в литературе и искусстве, так и в вопросах нравственного, национального, общечеловеческого характера. Говорят, что время лечит, всё расставляет по своим местам, при этом все получают по заслугам; причем нередко так бывает, что шумная, дутая, незаслуженная прижизненная слава сменяется полным народным забвением. Ныне у нас есть хорошая возможность взглянуть на творчество этих двух знаменитых людей с вершин сегодняшнего времени, чтобы ещё более явственно определить истинное величие и значение каждого из них.

Хорошо известно, что Гоголь и Шевченко шли к литературной славе и признанию сложными и весьма отличными путями. Говорят, что настоящий талант всегда пробьёт себе дорогу. Но здесь мы должны все же признать, что таланту Шевченко пришлось много сложнее, нежели таланту его малорусского собрата. И причиной того, безусловно, явился фактор происхождения и семьи. В данном отношении Николаю Васильевичу повезло явно больше, нежели Тарасу Григорьевичу. Он родился в культурной помещичьей дворянской семье. Родители его имели около 1000 десятин земли и владели 400-стами душ крепостных крестьян. Гимназия Высших наук в Нежине (1821-1828), которую закончил Гоголь, подразумевала лишь пролог для дальнейшей его карьеры. Впрочем, ранняя смерть отца существенно расстроила состояние семьи, и осложнило положение дел с дальнейшим образованием; более того, переехав в Петербург, Гоголь познал и нужду, и бедность, а временами и собственную ненужность. Однако в сравнении с тяготами крепостного Тараса Шевченко, бедствия дворянина Николая Гоголя всё же не кажутся столь трагическими и ужасными. Рожденный в семье крепостных крестьян, рано потерявший мать и отца, Тарас Шевченко с детских лет попал под жестокие бичи мук и страданий, как нравственные, так и физические. А его художественные и поэтические дарования долгое время не могли иметь даже права на гармоничное развития и совершенствование. Это была жизнь беспризорника, которому не на кого было рассчитывать, кроме как на себя самого; ему приходилось бороться порой за элементарное биологическое существование и выживание. Мальчик пас овец, прислуживал у дьячка-учителя, у которого и познал азы рисования, служил казачком-лакеем. С 1829 году он попадает слугой в дом своего барина - помещика Павла Васильевича Энгельгарда (1798-1849), человека православного, но польских шляхетских кровей, вероятно, и внушившего пареньку свой болезненно обостренный негативизм по отношению к «москалям» и «кацапам». Разглядев у юноши незаурядный дар к рисованию, Энгельгард, проживая уже в Вильно, отдал Шевченко на обучение портретисту и преподавателю местного университета Яну Рустему. С переездом (вместе с хозяином) в 1831 году в Петербург, Шевченко продолжил обучаться живописи, теперь уже у художника Василия Ширяева, человека грубого и своенравного. Дальнейшие, совершенно удивительные, зигзаги судьбы способствовали

всё же раскрытию яркого таланта юноши. Через своего земляка-малоросса, художника Ивана Максимовича Сошенко (1807-1867), он познакомился со светилами русского изобразительного искусства: Карлом Павловичем Брюлловым (1799-1852) и Алексеем Гавриловичем Венециановым (1780-1847), а также с весьма влиятельными особами: выдающимся музыкальным деятелем и композитором графом Михаилом Юрьевичем Виельгорским (1788-1856) и конферент-секретарем Академии художеств Василием Ивановичем Григоровичем (1786-1841), - тоже, кстати, уроженцем Малороссии.

Очарованные дарованиями юного художника-крепостного, все они, включая корифея русской поэзии Василия Андреевича Жуковского, стали предпринимать усилия по выкупу молодого одаренного человека из крепостной зависимости. Энгельгард, почувствовав повышенный интерес российских светил к своему крепостному, которого видел в будущем своим домашним художником-портретистом, долго не соглашался, требовал непомерно большие деньги за сделку. Тогда было решено организовать лотерею, чтобы собрать необходимую сумму денег, заявленную помещиком. Специально для лотереи Карлом Брюлловым был написан портрет Жуковского, который был выставлен на продажу. И тут мы сталкиваемся с первым удивительным, едва ли логически объяснимым фактом, на который обратили внимание многие исследователи. Речь идет о Государыне Императрице Александре Федоровне, не только горячо поддержавшей саму идею проведения лотереи, но и внесшей лично 400 рублей денег. Приняли участие в проведении этой лотереи, организованной графом Виельгорским, и некоторые другие представители Императорской Семьи, в частности, Наследник Престола В.К. Александр и В.К. Елизавета Павловна. Они внесли по 300 рублей.

Таким образом, всего было выручено 2500 рублей. Именно за эту сумму и был выкуплен в апреле 1838 г. у крепостника Энгельгарда двадцатичетырехлетний Тарас Григорьевич Шевченко, вскоре после того приступивший к обучению в Академии Художеств в качестве свободного гражданина и ученика самого Брюллова. Сам факт, что в освобождении будущего светоча и духовного вождя Украины решающую роль сыграли члены Царской Семьи, обычно умалчивается в литературе, посвященной Шевченко, как и умалчиваются некоторые лица, которые помогали молодому дарованию встать на ноги. Прошло всего несколько лет, и в «благодарность» Царственным особам в поэме «Сон», созданной Шевченко в 1844 году, нашли место запальчивые строки грязного, глумливого и пошлого поэтического пассажа:

"...Царица-небога,	Та ще, на лихо, сердешне
Мов опеньок засушений,	Хита головою.
Тонка, довгонога,	Так оце-то та богиня!"

Ещё в более резких тонах вспомнил свою благодетельницу поэт в 1860 году. 19 октября, на следующий же день после смерти Императрицы, злострастное вдохновение бывшего крепостного выплескивается в такие мерзкие и постыдные строки:

Хоча лежачого й не б'ють,	Не прокленуть, а тільки плюнуть
То і полежать не дають	На тих оддосених щенят,
Ледачому. Тебе ж, о суко!	Що ти щенила. Муко! Муко!
І ми самі, і наші внуки,	О скорбь моя, моя печаль!
І миром люди прокленуть!	Тебе, о люту, зацькують!

Да уж, тут не только лежачего, но и мертвого не пощадили! Что ещё можно сказать?.. Мерзко, пошло, цинично и бесчеловечно!

Свои первые стихи Шевченко начинает писать в Петербурге. Вот как сам он вспоминает об этом: «О первых литературных моих опытах скажу только, что они начались в том же Летнем саду, в светлые, безлунные ночи. Украинская строгая муза долго чуждалась моего вкуса, извращенного жизнью в школе, в помещичьей передней, на постоянных дворах и в городских квартирах; но когда дыхание свободы возвратило моим чувствам чистоту первых лет детства, проведенных под убогой батьковскою стрехою, она - спасибо ей - обняла и приласкала меня на чужой стороне». Упражнения в стихосложении приносят скоро ощутимые плоды. Есть, правда, достоверные сведения, что долгое время малограмотное стихотворчество Тараса Григорьевича искусно правили такие мастера слова, как Кулиш, Гребенка и некоторые иные благодетели.

Шевченко, в силу своих идейных убеждений, решает писать стихи только на малорусском наречии и с 1843 года пишет их только по-малорусски...

Политические стихи поэтического гения Украины удосужился после ареста Шевченко в 1847 году прочесть сам Император Николай I. Вот как повествует об этом знаменитый русский критик Виссарион Белинский в своем письме к В.П. Анненкову (XII, 1847):

„Наводил я справки о Шевченке и убедился окончательно, что вне религии вера есть никуда негодная вещь. Вы помните, что верующий друг мой говорил мне, что он верит, что Шевченко - человек достойный и прекрасный. Вера делает чудеса - творит людей из ослов и дубин, стало быть, она может и из Шевченки сделать, пожалуй, мученика свободы. Но здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх того, горького пьяницу, любителя горелки по патриотизму хохлацкому. Этот хохлацкий радикал написал два пасквиля - один на Государя Императора, другой - на Государыню Императрицу. Читая пасквиль на себя, Государь хохотал, и, вероятно, дело тем и кончилось бы, и дурак не пострадал бы, за то только, что он глуп. Но когда Государь прочел пасквиль на Императрицу, то пришел в великий гнев, и вот его собственные слова: «Положим, он имел причины быть мною недовольным и ненавидеть меня, но Ея-то за что?»

За участие в Киевском Кирилло-Мефодьевском обществе, имевшем политическую антигосударственную окраску, Шевченко, как известно, был строго наказан и сослан по рекрутской повинности солдатом в Оренбургский край, без права рисовать и писать. Строгость наказания была во многом обусловлена его антицарскими пассажами, с которыми лично ознакомился Государь Император. Дошедшие до нашего времени дневники и письма Шевченко повествуют о больших нравственных мучениях художника и поэта, не имевшего возможность в должной степени развивать свои дарования и таланты. Однако времена солдатчины (с 1847 по 1857 гг) не стали бесплодным периодом в жизни Шевченко. В этот период им были созданы, к примеру, повести на русском языке: „Княгиня“, „Художник“, „Близнецы“, а также некоторые другие произведения. Находясь на службе в солдатах, Шевченко многое переосценил, некоторые строки его писем свидетельствуют о покаянных чувствах ссыльного художника и поэта. «Преступление мое велико - я это сознаю въ душе, - писал он графине Анастасии Ивановне Толстой (отъ 22-го апреля 1856 г.), - но и наказание безгранично». Освобождение Шевченко состоялось 22 августа 1857 во многом благодаря стараниям и ходатайству «москальской» семье Толстых: вице-президента Академии Художеств графа Федора Петровича (1783-1873) и в особенности его супруги, большой любительницы и ценительницы искусства Анастасии Ивановне Толстой (1817-1889). В 1858-1859 гг в доме Толстых поэт всегда находил дружеский приют и убежище...

Творческий путь Гоголя тоже не был гладким и безмятежным. После несомненного успеха и пришедшего всероссийского признания, последовавшего вслед за публикациями „Вечеров на хуторе близ Диканьки“, „Миргорода“ и постановки „Ревизора“, так понравившегося Государю Императору Николаю I, Гоголь стал испытывать большую тягу к изучению „Истории Малороссии“. Он собирает обширный архивный материал, а с 24 июля 1834 года получает должность адъюнкт-профессора кафедры общей истории Петербургского университета. Некоторое время он вынашивает планы переехать в Киев, для преподавания у себя на Родине курса истории. Интересуется Гоголь и народным творчеством, собирает и записывает малорусские песни, баллады, сказания и думы, изучает древние летописи и исторические события. Выезжает за границу, посещает Германию, Францию, Италию; последней страной был особенно он пленен и очарован, да так, что признавался о появившемся ощущении, что обрел свою вторую Родину. В Италии Гоголь испытывал острую нехватку денег, в связи с чем, в апреле 1837 года из Рима напрямую обратился к Государю Императору Николаю I с просьбой о материальной помощи, которую вскоре и получил в виде 500 рублей. В отличие от Шевченко, Гоголь необыкновенно высоко ценил русского монарха, называя Его Великим Государем...

Да и саму поэзию русскую Гоголь видел не иначе, как в Небесном ореоле Православия и Монархии. Именно в библейском и царственном характере поэзии нашей находил он её основное отличие от европейской поэтической школы. «Русские поэты - писал Гоголь в «Избранных местах из переписки с друзьями» - отличались от иностранных какой-то особой библейской духовностью и царственностью своих творений... Царственные гимны наших поэтов изумляли самих чужеземцев своим величественным складом и слогом».

Шевченко и Гоголь - современники, хорошо знавшие заочно о существовании друг - друга, в одно время (1831-1836 гг) проживавшие некогда в Петербурге и имевшие круг общих знакомых, так и не встретившись в реальной жизни. Судя по доступным источникам, Шевченко буквально благоговел пред Гоголем. Вот что писал Тарас Григорьевич о Николае Васильевиче в письме к княжне В.Н. Репниной (7 марта 1850 г): «... я всегда читал Гоголя с наслаждением...

Перед Гоголем должно благоговеть, как пред человеком, одаренным самым глубоким умом и самую нежною любовью к людям! ... наш Гоголь - истинный ведатель сердца человеческого! Самый мудрый философ! и самый возвышенный поэт должен благоговеть пред ним, как перед человеколюбом! Я никогда не престану жалеть, что мне не удалось познакомиться лично с Гоголем. Личное знакомство с подобным человеком неоцененно, в личном знакомстве случайно иногда открываются такие прелести сердца, что не в силах никакое перо изобразить!». Шевченко хорошо осознавал правду об истинном значении и предназначении Гоголя для России и человечества; его возвышенные оценки свидетельствуют о трезвом взгляде на вещи и верном осознании подлинной, а не раздутой молвой, гениальности. Гоголю он посвящал свои стихи, в которых называл его «братом» и «великим другом» («...Ты смеёшься, а я плачу, друг ты мой великий...»). Он также написал портрет писателя и сделал несколько иллюстраций к гоголевским произведениям. Позже мнение Шевченко по отношению к Гоголю не претерпело существенных изменений. Он приветствовал и принимал с восторгом даже столь неоднозначно встреченные современниками «Избранные места из переписки с друзьями», изданные Гоголем в период его наиболее сложных духовных поисков и стремлений.

Совершенно по-иному оценивал Гоголь своего земляка-малоросса. Он не отказывал Шевченко в наличие таланта, но видел в творчестве даровитого самородка наряду со светлым нечто темное, грязное, грубое и совершенно недопустимое для истинно Великого поэта Великой земли. Так, в своих воспоминаниях писатель-малоросс Григорий Петрович Данилевский (1829-1890), посетивший Гоголя за 4-е месяца до кончины последнего, передаёт следующие слова Гоголя о Шевченко, высказанные в разговоре с литератором-славянистом и историком Осипом Максимовичем Бодянским (1808-1877) (цитируется в дореформенной орфографии):

- А Шевченко? - спросил Бодянский...

- Как вы его находите? - повторил Бодянский.

- Хорошо, что и говорить, - отвѣтил Гоголь: - только не обидьтесь, друг мой... вы - его поклонникъ, а его личная судьба достойна всякаго участія и сожалѣнія...

- Но зачѣмъ вы примѣшиваете сюда личную судьбу? - съ неудовольствіемъ возразилъ Бодянский: - это постороннее... Скажите о талантѣ, о его поэзіи...

- Дегтю много, - негромко, но прямо проговорилъ Гоголь, - и даже прибавлю: дегтю больше, чѣмъ самой поэзіи. Намъ-то съ вами, какъ малороссамъ, это, пожалуй, и пріятно, но не у всѣхъ носы, какъ наши. Да и языкъ...

Бодянский не выдержалъ, сталъ возражать и разгорячился. Гоголь отвѣчалъ ему спокойно.

- Намъ, Осипъ Максимовичъ, надо писать по-русски, - сказалъ онъ: - надо стремиться къ поддержкѣ и упроченію одного, владычнаго языка для всѣхъ родныхъ намъ племенъ. Доминантой для русскихъ, чеховъ, украинцевъ и сербовъ должна быть единая святыня - языкъ Пушкина, какою является евангеліе для всѣхъ христіанъ, католиковъ, лютеранъ и гернгутеровъ...

- Намъ, малороссамъ и русскимъ, нужна одна поэзія, спокойная и сильная, - продолжалъ Гоголь, останавливаясь у конторки и опираясь о нее спиной: - нетлѣнная поэзія правды, добра и красоты. Она не водевильная, сегодня только понятная, побрякушка и не раздражающій личными намеками и счетами, рыночный памфлетъ. Поэзія - голосъ пророка... Ея стихъ долженъ врачевать наши сомнѣнія, возвышать насъ, поучая вѣчнымъ истинамъ любви къ ближнимъ и прощенія врагамъ. Это - труба пречистаго архангела... Я знаю и люблю Шевченка, какъ земляка и даровитаго художника; мнѣ удалось и самому кое-чѣмъ помочь въ первомъ устройствѣ его судьбы. Но его погубили наши умники, натолкнувъ его на произведенія, чуждыя истинному таланту. Они все еще дожевываютъ европейскія, давно выкинутыя жваки. Русскій и малороссъ - это души близнецовъ, пополняющія одна другую, родныя и одинаково сильныя. Отдавать предпочтеніе одной, въ ущербъ другой, невозможно. Нѣтъ, Осипъ Максимовичъ, не то намъ нужно, не то. Всякій, пишущій теперь, долженъ думать не о розни; онъ долженъ прежде всего поставить себя передъ лицомъ Того, Кто далъ намъ вѣчное челоуѣческое слово...

Долго еще Гоголь говорилъ въ этомъ духѣ".

В этих словах великого писателя и знатока человеческих душ звучит не только критика, но и слова признания за Тарасом Шевченко подлинного таланта (более вероятно, в очах Гоголя, таланта художника, а не поэта): «Я знаю и люблю Шевченка, какъ земляка и даровитаго художника». «Всякій, пишущій теперь, долженъ думать не о розни», - как верно и здорово сказано! Не надо забывать, что Шевченко был замечен и возвышен прежде всего как художник, а не поэт. Именно как о даровитом художнике пеклись о нем в Петербурге столь ненавистные москаля и кацапы. Именно благодаря их хлопотам и усилиям состоялся выкуп Шевченко из крепостного рабства и обеспечено его обучение в Академии художеств, а в последствии и полу-

чение почетного звания Академика-гравера. Вообще Шевченко умел произвести хорошее о себе впечатление, обладал замечательным певческим голосом, прекрасной дикцией, чувством юмора, магнетизмом доброты и чистосердечности. Любил он искренне и горячо природу, животных, детей. В определенные периоды своей жизни был в высокой степени религиозен. Не чужд ему, к сожалению, как следует из воспоминаний современников, был и грех винопития, к которому по его собственному признанию И.С.Тургеневу, пристрастился он ещё в ссылке, да так и не смог отвыкнуть. Возможно, именно в этом-то и кроется основная причина его водянки, приведшей к столь преждевременной кончине...

В отличие от Гоголя, в основу своего творчества Шевченко положил идею народности, причем народности исключительно малорусской, украинской. Тараса Шевченко считают отцом украинского языка. Его сравнивают с Пушкиным, Кольцовым и даже Шиллером. Русский литературный критик и поэт Апполон Александрович Григорьев (1822-1864) назвал Шевченко последним кобзарем и первым великим поэтом новой великой литературы славянского мира. Очень высокую оценку дают Шевченко его друзья и современники, особенно малороссы: создатель первой украинской азбуки („кулишовки”) Пантелеймон Александрович Кулиш (1819-1897) и историк Николай Иванович Костомаров (1817-1875). С почтением отзывались о Шевченко И.С.Тургенев, Н.С. Лесков и многие другие русские известные литераторы. Имя Тараса Шевченко в Советское время увековечено в граните и мраморе (в Российской Империи не было ни одного памятника Шевченко! Зато памятники Гоголю ставились, как в Малороссии, так и в Великороссии: в Москве, Петербурге, Царицыне, Нежине, Полтаве, Могилеве-Подольском, с. Большие Сорочинцы), в его честь названы города, веси, улицы, учебные заведения, театры, десятки музеев, парков.

Творчество Шевченко оказалось удивительно созвучным и высоко поднято на знамя свободы революционеров всех мастей, а также, как это ни странно слышать, многих антироссийских сил и движений. Его память особенно интенсивно увековечивалась большевиками и коммунистами, а также украинскими националистами. Свою дикую ненависть к России последние и ныне продолжают черпать в наследии Тараса Шевченко, уделившего ненавистным москалям и кацапам немало места в своём творчестве, где вместе с мёдом очень много дёгтя, о котором говорил Гоголь.

И всё же лучшие произведения его заслуживают признания и уважения, причем не только на Украине, но и в России.

Жаль, что Николай Васильевич Гоголь и Тарас Григорьевич Шевченко так и не повстречались в жизни. Быть может, эта встреча повлияла бы благотратно на искалеченную и озлобленную душу народного поэта и художника Малороссии-Украины. Мне кажется, что эти два великих человека встретились бы друзьями: по-братски расцеловались, поговорили бы вдоволь на хохляцкой мове, спели бы дуэтом украинские народные песни. Думаю, что Гоголь, перед которым так благоговел Шевченко, смог бы (неприменно смог бы!!!) своим точным богодухновенным словом воздействовать и изменить те спорные, темные и неверные мотивы песен последнего кобзаря Малороссии, направив его грядущие думы и заветы на борьбу за нерушимое единство украинского и русского народа.

31.10.2014 г - 11.05.2015.

Когда у Гоголя спросили:
«Как можно ближних возлюбить?»
Ответил он: "Люби Россию,
И Бог в любви дарует жить.

Лишь только возлюбив Россию,
Полюбишь всех живущих в ней:
И тех, кто в красоте и силе,
И падших, гибнущих люде

Лишь только возлюбив Россию,
И отказавшись от себя,
Полюбишь ближних, как просил ты,
Всею сердцем пламенно горя».

08.07.2014

В.К. НЕВЯРОВИЧ. Россия.



Бриллиант упавший в грязь, всё равно остаётся бриллиантом,
а пыль, подымавшаяся до небес, так и остаётся пылью. (Китайская мудрость)

Вдохновение

Спасибо Вам за вспышку вдохновенья,
За ласку честных слов, тепло души,
Подаренные дивные мгновенья,
Сияющие радугой в тиши...

За то, что лес опять мне шепчет сказку,
И замок строит сплошь из серебра...
Что, наконец, с души слетела маска –
И Муза не покинет до утра.

1-6-2015 **Тамара Малеевская.** Брисбен.



У Кораллового моря
счастьем воздух переполнен -
риффы, рыбы у кормы,
бьют нефритовые волны
блеском брызжащей каймы.

В этом солнечном просторе
ветры дуют с высоты.
У Кораллового моря
тайны вечной красоты.

Эльмара Фаустова. Проза.ру

17-X-2007 Плавание на Зелёный остров
Большого Барьерного рифа. Австралия.

**В жизни я слышал многое –
клятвы, обещания, комплименты,
но лучшее, что я слышал - тишина.
В ней нет лжи.**

Гроза

Ничто не предвещало бури,
Мечтам предавшись, лес молчал.
Он, днём слегка побалагурив,
Теперь спокойно отдыхал.

Лазурь укутав в атлас ночи,
Отправив Солнце на покой,
Богиня Нюкта быстро очень
Зажгла все звёзды – до одной.

В лучах сияющих созвездий
Игра гламура ожила –
Под блики радостных приветствий
Селена трон свой заняла.

Благоуханным ароматом
Наполнен был ночной эфир...
Бетховен «Лунную сонату»
В такую ночь ли сочинил?..

И вдруг неведомо откуда
Неистовый раздался гул,
Лес задрожал весь от испуга,
Мгновенно сон с ветвей смахнув.

Свинцовые наплыли тучи,
Луна растаяла во мгле,
Померкли звёзды в тьме кипучей,
А горизонт пылал в огне.

Десятки громов грохотали,
Безбожно нагоняя жуть,
Мечами молнии кромсали
Тела остервеневших туч.

Вздымалось озеро. Зверья,
Пыталось выйти с берегов –
Под властью грозного Борья
Быть равнодушным нелегко.

Гроза как будто насмехалась,
Показывая норов свой,
По настроению менялась -
Её нельзя понять порой, -

То - хохотала, то – рыдала,
А то несла какой-то бред,
Лишь на мгновенье замолкала,
Чтоб огненный оставить след,

Плетьми дождя полосовала
Всё, что встречала на пути,
От мук берёза застонала,
Склоняя ветви на груди...

... О, если б я была художник -
Запечатлела б на холсте,
Как одинокий полуночник
Безумно рад был той грозе!

Светлана Шемякина. Украина.
Сайт «Свете Тихий»



Ехала в маршрутке с метлой (на базаре купила). Парень до-о-о-олго смотрел смотрел на меня...
а потом с улыбкой спросил: “Что, не завелась?”



Княгиня



В большие, так называемые "Красные" ворота N-ского мужского монастыря въехала коляска, заложённая в четверку сытых, красивых лошадей; иеромонахи и послушники, стоявшие толпой около дворянской половины гостиного корпуса, ещё издали по кучеру и по лошадям узнали в даме, которая сидела в коляске, свою хорошую знакомую, княгиню Веру Гавриловну.

Старик в ливрее прыгнул с козел и помог княгине выйти из экипажа. Она подняла темную вуаль и не спеша подошла ко всем иеромонахам под благословение, потом ласково кивнула послушникам и направилась в покои.

- Что, соскучились без своей княгини?- говорила она монахам, вносящим ее вещи. - Я у вас целый месяц не была. Ну, вот приехала, глядите на свою княгиню. А где отец архимандрит? Боже мой, я сгораю от нетерпения! Чудный, чудный старик! Вы должны гордиться, что у вас такой архимандрит.

Когда вошел архимандрит, княгиня восторженно вскрикнула, скрестила на груди руки и подошла к нему под благословение.

- Нет, нет! Дайте мне поцеловать! - сказала она, хватая его за руку и жадно целуя ее три раза. - Как я рада, святой отец, что наконец вижу вас! Вы небось забыли свою княгиню, а я каждую минуту мысленно жила в вашем милом монастыре. Как у вас здесь хорошо! В этой жизни для Бога, вдали от суетного мира, есть какая-то особая прелесть, святой отец, которую я чувствую всей душой, но передать на словах не могу!

У княгини покраснели щеки и навернулись слезы. Говорила она без умолку, горячо, а архимандрит, старик лет семидесяти, серьезный, некрасивый и застенчивый, молчал, лишь изредка говорил отрывисто и по-военному:

- Так точно, ваше сиятельство... слушаю-с... понимаю-с...

- Надолго изволил пожаловать к нам?- спросил он.

- Сегодня я переночую у вас, а завтра поеду к Клавдии Николаевне - давно уж мы с ней не видались, а послезавтра опять к вам, и проживу дня три-четыре. Хочу у вас здесь отдохнуть душой, святой отец...

Княгиня любила бывать в N-ском монастыре. В последние два года она облюбовала это место и приезжала сюда почти каждый летний месяц и жила дня по два, по три, а иногда и по неделе. Робкие послушники, тишина, низкие потолки, запах кипариса, скромная закуска, дешевые занавески на окнах - все это трогало ее, умиляло и располагало к созерцанию и хорошим мыслям. Достаточно ей было побыть в покоях полчаса, как ей начинало казаться, что она тоже робка и скромна, что и от нее пахнет кипарисом; прошлое уходило куда-то вдаль, теряло свою цену, и княгиня начинала думать, что, несмотря на свои двадцать девять лет, она очень похожа на старого архимандрита и так же, как он, рождена не для богатства, не для земного величия и любви, а для жизни тихой, скрытой от мира, сумеречной, как покои...

Бывает так, что в темную келию постника, погруженного в молитву, вдруг нечаянно заглянет луч или сядет у окна келии птичка и запоет свою песню; суровый постник невольно улыбается, и в его груди из-под тяжелой скорби о грехах, как из-под камня, вдруг польется ручьем тихая, безгрешная радость. Княгине казалось, что она приносила с собою извне точно такое же утешение, как луч или птичка. Ее приветливая, веселая улыбка, кроткий взгляд, голос, шутки, вообще вся она, маленькая, хорошо сложенная, одетая в простое черное платье, своим появлением должна была возбуждать в простых, суровых людях чувство умиления и радости. Каждый, глядя на нее, должен был думать: "Бог послал нам ангела..." И, чувствуя, что каждый невольно думает это, она улыбалась еще приветливее и старалась походить на птичку.

Напившись чаю и отдохнув, она вышла погулять. Солнце уже село. От монастырского цветника повеяло на княгиню душистой влагой только что политой резеды, из церкви донеслось тихое пение мужских голосов, которое издали казалось очень приятным и грустным. Шла всеобщая. В темных окнах, где кротко мерцали лампадные огоньки, в тени, в фигуре старика монаха, сидевшего на паперти около образа с кружкой, было написано столько безмятежного покоя, что княгине почему-то захотелось плакать...

А за воротами, на аллее между стеной и березами, где стоят скамьи, был уже совсем вечер. Воздух темнел быстро-быстро... Княгиня прошла по аллее, села на скамью и задумалась.

Она думала о том, что хорошо бы поселиться на всю жизнь в этом монастыре, где жизнь тиха и безмятежна, как в летний вечер; хорошо бы позабыть совсем о неблагодарном, распутном князе, о своем громадном состоянии, о кредиторах, которые беспокоят ее каждый день, о

своих несчастьях, о горничной Даше, у которой сегодня утром было дерзкое выражение лица. Хорошо бы всю жизнь сидеть здесь на скамье и сквозь стволы берез смотреть, как внизу под горой клочьями бродит вечерний туман, как далеко-далеко над лесом черным облаком, похожим на вуаль, летят на ночлег грачи, как два послушника - один верхом на пегой лошади, другой пешком - гонят лошадей на ночное и, обрадовавшись свободе, шалют, как малые дети; их молодые голоса звонко раздаются в неподвижном воздухе, и можно разобрать каждое слово. Хорошо сидеть и прислушиваться к тишине: то ветер подует и тронет верхушки берез, то лягушка зашелестит в прошлогодней листве, то за стеною колокольные часы пробьют четверть... Сидеть бы неподвижно, слушать и думать, думать, думать...

Мимо прошла старуха с котомкой. Княгиня подумала, что хорошо бы остановить эту старуху и сказать ей что-нибудь ласковое, задушевное, помочь ей... Но старуха ни разу не оглянулась и повернула за угол.

Немного погодя на аллее показался высокий мужчина с седой бородой и в соломенной шляпе. Поравнявшись с княгиней, он снял шляпу и поклонился, и по его большой лысине и острому, горбтому носу княгиня узнала в нем доктора Михаила Ивановича, который лет пять тому назад служил у нее в Дубовках. Она вспомнила, что кто-то ей говорил, что в прошлом году у этого доктора умерла жена, и ей захотелось посочувствовать ему, утешить.

- Доктор, вы, вероятно, меня не узнаете? - спросила она, приветливо улыбаясь.

- Нет, княгиня, узнал, - сказал доктор, снимая еще раз шляпу.

- Ну, спасибо, а то я думала, что вы забыли свою княгиню. Люди помнят своих врагов, а друзей забывают. И вы приехали помолиться?

- Я здесь каждую субботу ночью, по обязанности. Я тут лечу.

- Ну, как поживаете?- спросила княгиня, вздыхая. - Я слышала, у вас скончалась супруга!

Какое несчастье!

- Да, княгиня, для меня это большое несчастье.

- Что делать! Мы должны с покорностью переносить несчастья. Без воли провидения ни один волос не падает с головы человека.

- Да, княгиня.

На приветливую, кроткую улыбку княгини и ее вздохи доктор отвечал холодно и сухо: "Да, княгиня". И выражение лица у него было холодное, сухое.

"Что бы еще такое сказать ему?"- подумала княгиня.

- Сколько времени мы с вами не виделись, однако! - сказала она. - Пять лет! За это время сколько воды в море утекло, сколько произошло перемен, даже подумать страшно! Вы знаете, я замуж вышла... из графини стала княгиней. И уже успела разойтись с мужем.

- Да, я слышал.

- Много Бог послал мне испытаний! Вы, вероятно, тоже слышали, я почти разорена. За долги моего несчастного мужа продали у меня Дубовки, и Кирьяково, и Софьино. Остались у меня только Бараново да Михальцево. Страшно оглянуться назад: сколько перемен, несчастий разных, сколько ошибок!

- Да, княгиня, много ошибок!

Княгиня немного смутилась. Она знала свои ошибки; все они были до такой степени интимны, что только одна она могла думать и говорить о них. Она не удержалась и спросила:

- Вы про какие ошибки думаете?

- Вы упомянули о них, стало быть, знаете... - ответил доктор и усмехнулся. - Что ж о них говорить!

- Нет, скажите, доктор. Я буду вам очень благодарна! И, пожалуйста, не церемоньтесь со мной. Я люблю слушать правду.

- Я вам не судья, княгиня.

- Не судья? Каким вы тоном говорите, значит, знаете что-то. Скажите!

- Если желаете, то извольте. Только, к сожалению, я не умею говорить и меня не всегда можно понять.

Доктор подумал и начал:

- Ошибок много, но, собственно, главная из них, по моему мнению, это общий дух, которм... который царил во всех ваших имениях. Видите, я не умею выражаться. То есть главное - это нелюбовь, отвращение к людям, какое чувствовалось положительно во всем. На этом отвращении у вас была построена вся система жизни. Отвращение к человеческому голосу, к лицам, к затылкам, шагам... одним словом, ко всему, что составляет человека. У всех дверей и на лестницах стоят сытые, грубые и ленивые гайдуки в ливреях, чтоб не пускать в дом неприлич-

но одетых людей; в передней стоят стулья с высокими спинками, чтоб во время балов и приемов лакеи не пачкали затылками обоев на стенах; во всех комнатах шершавые ковры, чтоб не было слышно человеческих шагов; каждого входящего обязательно предупреждают, чтобы он говорил потише и поменьше и чтоб не говорил того, что может дурно повлиять на воображение и нервы. А в вашем кабинете не подают человеку руки и не просят его садиться, точно так, как сейчас вы не подали мне руки и не пригласили сесть...

- Извольте, если хотите! - сказала княгиня, протягивая руку и улыбаясь. - Право, сердиться из-за такого пустяка...

- Да разве я сержусь? - засмеялся доктор, но тотчас же вспыхнул, снял шляпу и, размахивая ею, заговорил горячо: - Откровенно говоря, я давно уже ждал случая, чтоб сказать вам все, все... То есть я хочу сказать, что вы глядите на всех людей по-наполеоновски, как на мясо для пушек. Но у Наполеона была хоть какая-нибудь идея, а у вас, кроме отвращения, ничего!

- У меня отвращение к людям! - улыбнулась княгиня, пожимая в изумлении плечами. - У меня!

- Да, у вас! Вам нужно фактов? Извольте! В Михальцеве у вас живут милостыней три бывших ваших повара, которые ослепли в ваших кухнях от печного жара. Все, что есть на десятках тысяч ваших десятин здорового, сильного и красивого, все взято вами и вашими прихлебателями в гайдуки, лакеи, в кучера. Все это двуногое живье воспиталось в лакействе, объелось, огрубело, потеряло образ и подобие, одним словом... Молодых медиков, агрономов, учителей, вообще интеллигентных работников, Боже мой, отрывают от дела, от честного труда и заставляют из-за куска хлеба участвовать в разных кукольных комедиях, от которых стыдно делается всякому порядочному человеку! Иной молодой человек не прослужит и трех лет, как становится лицемером, подлипалой, ябедником... Хорошо это? Ваши управляющие-поляки, эти подлые шпионы, все эти Казимиры да Каэтаны рыщут от утра до ночи по десяткам тысяч десятин и в угоду вам стараются содрать с одного вола три шкуры. Позвольте, я выражаюсь без системы, но это ничего! Простой народ у вас не считают людьми. Да и тех князей, графов и архиереев, которые приезжали к вам, вы признавали только как декорацию, а не как живых людей. Но главное... главное, что меня больше всего возмущает, - иметь больше миллиона состояния и ничего не сделать для людей, ничего!

Княгиня сидела удивленная, испуганная, обиженная, не зная, что сказать и как держать себя. Никогда раньше с нею не говорили таким тоном. Неприятный сердитый голос доктора и его неуклюжая, заикающаяся речь производили в ее ушах и голове резкий, стучащий шум, потом же ей стало казаться, что жестикулирующий доктор бьет ее своею шляпой по голове.

- Неправда! - выговорила она тихо и умоляющим голосом. - Для людей я много хорошего сделала, это вы сами знаете!

- Да полноте! - крикнул доктор. - Неужели вы еще продолжаете считать вашу благотворительную деятельность чем-то серьезным и полезным, а не кукольной комедией? Ведь то была комедия от начала до конца, то была игра в любовь к ближнему, самая откровенная игра, которую понимали даже дети и глупые бабы! Взять хоть этот ваш - как его? - странно-приимный дом для безродных старух, в котором меня вы заставили быть чем-то вроде главного доктора, а сами были почетной опекушкой. О Господи Боже наш, что за учреждение милое! Построили дом с паркетными полами и с флюгером на крыше, собрали в дереве с десяток старух и заставили их спать под байковыми одеялами, на простынях из голландского полотна и кушать леденцы...

Доктор злорадно прыснул в шляпу и продолжал быстро и заикаясь:

- Была игра! Низшие приютские чины прячут одеяла и простыни под замок, чтобы старухи не пачкали - пусть спят, чертовы переноски, на полу! Старуха не смеет ни на кровать сесть, ни кофту надеть, ни по гладкому паркету пройти. Все сохранялось для парада и пряталось от старух, как от воров, а старухи потихоньку кормились и одевались Христа ради, и денно и ночью молили Бога, чтоб поскорее уйти из-под ареста и от душеспасительных назиданий сытых подлецов, которым вы поручили надзор за старухами. А высшие чины что делали? Это просто восхитительно! Этак раза два в неделю, вечером, скачут тридцать пять тысяч курьеров и объявляют, что завтра княгиня - то есть, вы - будете в приюте. Это значит, что завтра нужно бросать больных, одеваться и ехать на парад. Хорошо, приезжаю. Старухи во всем чистом и новом уже выстроены в ряд и ждут. Около них ходит отставная гарнизонная крыса - наблюдатель со своей сладенькой, ябеднической улыбочкой. Старухи зевают и переглядываются, но роптать боятся. Ждем. Скачет младший управляющий. Через полчаса после него старший управляющий, потом главноуправляющий конторой экономии, потом еще кто-нибудь и еще

кто-нибудь... скажут без конца! У всех таинственные, торжественные лица. Ждем, ждем, переминаемся с ноги на ногу, посматриваем на часы - все это в гробовом молчании, потому что все мы ненавидим друг друга и на ножах. Проходит час, другой, и вот наконец показывается вдали коляска, и... и...

Доктор залился тонким смехом и выговорил тоненьким голоском:

- Вы выходите из коляски, и старые ведьмы по команде гарнизонной красы начинают петь: "Коль славен Наш Господь в Сионе, не может изъяснить язык..." Недурно?

Доктор захохотал басом и махнул рукой, как бы желая показать, что от смеха он не может выговорить ни одного слова. Смеялся он тяжело, резко, с крепко стиснутыми зубами, как смеются недобрые люди, и по его голосу, лицу и блестящим, немножко наглым глазам можно было понять, что он глубоко презирал и княгиню, и приют, и старух. Во всем, что он так неумело и грубо рассказал, не было ничего смешного и веселого, но хохотал он с удовольствием и даже с радостью.

- А школа? - продолжал он, тяжело дыша от смеха. - Помните, как вы пожелали сами учить мужицких детей? Должно быть, очень хорошо учили, потому что скоро все мальчишки разбежались, так что потом пришлось пороть их и нанимать за деньги, чтоб они ходили к вам. А помните, как вы пожелали собственноручно кормить соской грудных младенцев, матери которых работают в поле? Вы ходили по деревне и плакали, что младенцев этих нет к вашим услугам - все матери брали их с собой в поле. Потом староста приказал матерям по очереди оставлять своих младенцев вам на потеху. Удивительное дело! Все бежали от ваших благоденний, как мыши от кота! А почему это? Очень просто! Не оттого, что народ у нас невежественный и неблагодарный, как вы объясняли всегда, а оттого, что во всех ваших затеях, извините меня за выражение, не было ни на один грош любви и милосердия! Было одно только желание забавляться живыми куклами и ничего другого... Кто не умеет отличать людей от баллонов, тот не должен заниматься благотворением. Уверю вас, между людьми и болонками - большая разница!

У княгини страшно билось сердце, в ушах у нее стучало, и все еще ей казалось, что доктор долбит ее своей шляпой по голове. Доктор говорил быстро, горячо и некрасиво, с заиканьем и с излишней жестикующей; для нее было только понятно, что с нею говорит грубый, невоспитанный, злой, неблагодарный человек, но чего он хочет от нее и о чем говорит - она не понимала.

- Уйдите! - сказала она плачущим голосом, поднимая вверх руки, чтобы заслонить свою голову от докторской шляпы. - Уйдите!

- А как вы обращаетесь со своими служащими! - продолжал возмущаться доктор. - Вы их за людей не считаете и третируете, как последних мошенников. Например, позвольте вас спросить, за что вы меня уволили? Служил десять лет вашему отцу, потом вам, честно, не зная ни праздников, ни отпусков, заслужил любовь всех на сто верст кругом, и вдруг в один прекрасный день мне объявляют, что я уже не служу! За что? До сих пор не понимаю! Я доктор медицины, дворянин, студент Московского университета, отец семейства, такая мелкая и ничтожная сошка, что меня можно выгнать в шею без объяснения причин! Зачем со мной церемониться? Я слышал потом, что жена, без моего ведома, тайком ходила к вам раза три просить за меня, и вы ее не приняли ни разу. Говорят, плакала в передней... И я этого никогда не прощу ей, покойнице! Никогда!

Доктор замолчал и стиснул зубы, напряженно придумывая, чтобы еще такое сказать очень неприятное, мстительное. Он что-то вспомнил, и нахмуренное, холодное лицо его вдруг просияло.

- Взять хотя бы ваши отношения к этому монастырю! - заговорил он с жадностью. - Вы никогда никого не щадили, и чем святее место, тем больше шансов, что ему достанется на орехи от вашего милосердия и ангельской кротости. Зачем вы ездите сюда? Что вам здесь у монахов нужно, позвольте вас спросить? Что вам Гекуба и что вы Гекубе? Опять-таки забава, игра, кощунство над человеческою личностью, и больше ничего. Ведь в монашеского Бога вы не веруете, у вас в сердце свой собственный «бог», до которого вы дошли своим умом на спиритических сеансах; на обряды церковные вы смотрите снисходительно: к обедне и ко всенощной не ходите, спите до полудня... зачем же вы сюда ездите? В чужой монастырь вы ходите со своим «богом» и воображаете, что монастырь считает это за превеликую честь для себя! Как бы не так! Вы спросите-ка, между прочим, во что обходятся монахам ваши визиты? Вы изволили приехать сюда сегодня вечером, а третьего дня уж тут был верховой, посланный из экономии предупредить, что вы сюда собираетесь. Целый день вчера приготавливали для вас

покои и ждали. Сегодня прибыл авангард - наглая горничная, которая то и дело бегаёт через двор, шуршит, пристаёт с вопросами, распоряжается... терпеть не могу! Сегодня монахи весь день были настороже: ведь если вас не встретит с церемонией - беда! Архиепископу пожалуется! "Меня, ваше преосвященство, монахи не любят. Не знаю, чем я их прогневала. Правда, я великая грешница, но ведь я так несчастна!" Уж одному монастырю была из-за вас нахлобучка. Архимандрит занятой, учёный человек, у него и минуты нет свободной, а вы то и дело требуете его к себе в покои. Никакого уважения ни к старости, ни к сану. Добро бы, жертвовали много, не так бы уж обидно было, а то ведь за все время монахи от вас и ста рублей не получили!

Когда княгиню беспокоили, не понимали, обижали и когда она не знала, что ей говорить и делать, то обыкновенно она начинала плакать. И теперь в конце концов она закрыла лицо и заплакала тонким, детским голоском. Доктор вдруг замолчал и посмотрел на нее. Лицо его потемнело и стало суровым.

- Простите меня, княгиня, - сказал он глухо. - Я поддался злему чувству и забылся. Это нехорошо.

И, конфузливо кашлянув, забывая надеть шляпу, он быстро отошел от княгини.

На небе уже мерцали звезды. Должно быть, по ту сторону монастыря восходила луна, потому что небо было ясно, прозрачно и нежно. Вдоль белой монастырской стены бесшумно носились летучие мыши.

Часы медленно пробили три четверти какого-то часа, должно быть, девятого. Княгиня поднялась и тихо пошла к воротам. Она чувствовала себя обиженной и плакала, и ей казалось, что и деревья, и звезды, и летучие мыши жалеют ее; и часы пробили мелодично только для того, чтобы посочувствовать ей. Она плакала и думала о том, что хорошо бы ей на всю жизнь уйти в монастырь: в тихие летние вечера она гуляла бы одиноко по аллеям, обиженная, оскорбленная, не понятая людьми, и только бы один Бог да звездное небо видели слезы страдальцы. В церкви еще продолжалась всенощная. Княгиня остановилась и прислушалась к пению; как хорошо это пение звучало в неподвижном, темном воздухе! Как сладко под это пение плакать и страдать!

Придя в себе в покои, она поглядела в зеркало на свое заплаканное лицо и припудрилась, потом села ужинать. Монахи знали, что она любит маринованную стерлядь, мелкие грибки, малагу и простые медовые пряники, от которых во рту пахнет кипарисом, и каждый раз, когда она приезжала, подавали ей все это. Кушая грибки и запивая их малагой, княгиня мечтала о том, как ее окончательно разорят и покинут, как все ее управляющие, приказчики, конторщики и горничные, для которых она так много сделала, изменят ей и начнут говорить грубости, как все люди, сколько их есть на земле, будут нападать на нее, злословить, смеяться; она откажется от своего княжеского титула, от роскоши и общества, уйдет в монастырь, и никому ни одного слова упрека; она будет молиться за врагов своих, и тогда все вокруг поймут ее, придут к ней просить прощения, но уж будет поздно...

А после ужина она опустила в углу перед образом на колени и прочла две главы из евангелия. Потом горничная постлала ей постель, и она легла спать. Потягиваясь под белым покрывалом, она сладко и глубоко вздохнула, как вздыхают после плача, закрыла глаза и стала засыпать...

Утром она проснулась и взглянула на свои часики: было половина десятого. На ковре около кровати тянулась узкая, яркая полоса света от луча, который шел из окна и чуть-чуть освещал комнату. За черной занавеской на окне шумели мухи. "Рано!" - подумала княгиня и закрыла глаза.

Потягиваясь и нежась в постели, она вспомнила вчерашнюю встречу с доктором и все те мысли, с какими вчера она уснула; вспомнила, что она несчастна. Потом пришли на память ее муж, живущий в Петербурге, управляющие, доктора, соседи, знакомые чиновники... Длинный ряд знакомых мужских лиц пронесся в ее воображении. Она улыбнулась и подумала, что если бы эти люди сумели проникнуть в ее душу и понять ее, то все они были бы у ее ног...

В четверть двенадцатого она позвала горничную.

- Давайте, Даша, одеваться, - сказала она томно. - Впрочем, сначала подите скажите, чтобы запрягли лошадей. Надо к Клавдии Николаевне ехать.

Выйдя из покоев, чтобы садиться в экипаж, она зажмурилась от яркого дневного света и засмеялась от удовольствия: день был удивительно хорош! Оглядывая прищуренными глазами монахов, которые собрались у крыльца проводить ее, она приветливо закивала головой и сказала:

- Прощайте, мои друзья! До послезавтра.

Ее приятно удивило, что вместе с монахами у крыльца находился и доктор. Лицо его было бледно и сурово.

- Княгиня, - сказал он, снимая шляпу и виновато улыбаясь, - я уже давно жду вас тут. Простите, Бога ради. Нехорошее, мстительное чувство увлекло меня вчера, и я наговорил вам... глупостей. Одним словом, я прошу прощения..

Княгиня приветливо улыбнулась и протянула к его губам руку. Он поцеловал и покраснел.

Стараясь походить на птичку, княгиня порхнула в экипаж и закивала головой во все стороны. На душе у нее было весело, ясно и тепло, и сама она чувствовала, что ее улыбка необыкновенно ласкова и мягка. Когда экипаж покатило к воротам, потом по пыльной дороге мимо изб и садов, мимо длинных чумацких обозов и богомольцев, шедших вереницами с монастырь, она все еще шурилась и мягко улыбалась. Она думала о том, что нет выше наслаждения, как всюду вносить с собою теплоту, свет и радость, прощать обиды и приветливо улыбаться врагам. Встречные мужики кланялись ей, коляска мягко шуршала, из-под колес валили облака пыли, уносимые ветром на золотистую рожь, и княгине казалось, что ее тело качается не на подушках коляски, а на облаках, и что сама она похожа на легкое, прозрачное облачко...

- Как я счастлива! - шептала она, закрывая глаза. - Как я счастлива!

А.П. Чехов.



**Здоровье - это когда у вас
каждый день болит
в другом месте.**



Диагноз:
Психических отклонений нет.
Просто дурак.



Интеллект - отвратительная вещь!

Человек без мозгов абсолютно уверен в высоком уровне своего развития.

Умный же прекрасно сознаёт, какой он в сущности, придурок.

Вот такой парадокс...



ПАСТУХ И «ШУТНИК»



В деревне пастух был. Звали его Полтора-Ивана. Здоровенный такой дядька, но глуховатый. Осенью погнал он коров через убранный кукурузный поле, и тут волк ему на спину запрыгнул. Вцепился мёртвой хваткой в брезентовый капюшон плаща, рычит, мордой крутит. А Полтора-Ивана на ухо тугой, рыка волчьего не слышит. Подумал, что кто-то из деревенских с ним пошутил, на спину запрыгнул, покаяться захотел... Бригадир колхозный любил так порезвиться.

- Да ладно, - говорит Полтора-Ивана, - пошутил и слазь. Не буду я тебя катать.

Шутник не слезает, ещё и дёргается на спине.

- Что за дурак? - говорит пастух.

А тут вниз глянул и увидел, что между ног серый хвост болтается.

- Что за ерунда? - нагнулся, схватил за хвост и дёрнул хорошенько.

Батюшки! Так это же волк!

Полтора-Ивана, не выпуская хвоста из рук, раскрутил хищника над головой и со всей дури в ствол дерева запустил. Волк после стремительного полёта над полем и жёсткого контакта с придорожным тополем сдох сразу, даже не визгнул. Крупный волчара оказался, всех коров распугал. Пришлось до вечера стадо собирать.

А в деревне над пастухом потом долго смеялись.

Александр Герасимов.

С улыбкой и любовью всем
Начинающим авторам
русской провинции посвящается...

КЛАССИК



Владимир Петрович Квасин, бывший журналист местной газеты «Правда Захолустья», а ныне - безработный и начинающий писатель, поздно вечером садится за письменный стол - писать. Перед этим он долго готовится: надевает свой лучший (и единственный), синий свадебный костюм, пьёт чай (потому что закодировался). Курит. Ходит взад-вперед по кухне. Жене, так некстати стирающей здесь пеленки и мешающей думать, он выговаривает сурово: «Ты бы отошла. Не видишь - я размышляю». Отодвигает её в сторону, снова садится за стол, пьет чай. Снова курит.

Потом уходит в большую комнату. И вот он - за письменным столом.

Ручка с позолоченным пером (подарок жены) - заправлена чернилами. Пачка белоснежной бумаги (память о редакции), - вскрыта. Настольная лампа - включена. Молодая жена на кухне - стирает. Годовалая дочка Катенька в кровати - спит. Можно начинать писать.

Конечно, на компьютере печатать было бы сподручнее, кто спорит? Но это пока из области фантастики - не по деньгам. А ручка и, особенно, бумага вполне по средствам, да к тому же и гораздо ближе к классике. Гораздо ближе...

Владимир Петрович приосанивается, поправляет галстук. Прокашливается. Трет левой рукой переносицу, лоб. Хмурится. Размышляет: «Да. Сегодня должен написать. Кажется, вдохновение пришло. Или не пришло? Да, нет, вроде пришло. Что же написать-то? Роман, повесть, рассказ ...» - взгляд его падает на стопки в беспорядке сложенных на столе книг великих классиков и современников: Лев Толстой, Фёдор Достоевский, Малина Малинина, Марья Бойцова, Савелий Профессоренко...

Рука невольно тянется за книгой какого-нибудь классика и вновь одолевает желание разобраться с ними со всеми. «О чём, о чем особенном они писали?» - недоумевает, мучается Квасин. Чешет давно не мытый затылок, темечко. Затем, бормоча себе под нос: «Это что за серая книжонка?» - берёт наугад в руки тоненькую книжку. Читает: «Фёдор Михайлович Достоевский». Читает по слогам, с чувством, с толком, с расстановкой, чтобы успеть проникнуться величием, духом почившего классика. Правда, оказывается, что «Достоевский» - не писатель, а название этой книги. Автор же её какой-то малоизвестный С.Б. Чернов. Владимир Петрович раскрывает книжку посередине и первым делом - смотрит картинки: «М.Ф. Достоевская - писателя мать», «М.Д. Достоевская - первая жена писателя», «А.Г. Достоевская, вторая жена писателя», (третьей жены почему-то фотографии нет), «Флигель Мариинской больницы, в котором родился Ф.М. Достоевский»... Картинки неинтересные, не цветные, а черно-белые.

«Больница, родится, умудрится...» - шепчет Владимир Петрович, и продолжает, как всякий грамотный человек, листать книгу по диагонали. Слышен шелест перелистываемых страниц, затем возглас: «О! Это интересно!»

И Квасин читает вслух: «За пять дней в Висбадене Достоевский проигрывает в рулетку всё, что имеет, вплоть до карманных часов». Мутная волна раздражения захлестывает душу Петровича: «Ишь, ты! Значит, было, что проигрывать. А тут не только золотых карманных, вообще никаких часов нет. И носки драные...» Но стойко продолжает читать дальше: «Анна Григорьевна закладывает буквально всё, вплоть до своей последней рубашки, и не ропщет, когда Достоевский закладывает даже обручальное кольцо и серьги».

«Вот именно, что не ропщет!» - завидует коллеге-Достоевскому Квасин. «А моя всё ноет и ноет, что нечем платить за квартиру, за свет, за всё. Тьфу! Небось у Достоевского жена была покрепче нервами-то. М-да...» Квасин тяжело вздыхает и далее углубляется в текст: «Годы создания «Братьев Карамазовых» - это время многочисленных и блестящих выступлений Достоевского на литературных вечерах». «Ну, это, вообще ни в какие ворота... - чаша терпения Квасина переполняется, и он с силой захлопывает эту противную книгу. Но печальные мысли не стихают и не дают покоя: «Вечера... Блестящие... А тут хоть бы одна скотина пригласила почитать. Выслушала. Вон недавно сунулся в коридоре к соседу - обматерил. Да и теща не лучше. Приперлась вчера: «А ты всё штаны протираешь? Всё куришь? Когда ж, ты, на работу пойдешь!» Достала, язва: «Бедная внученька! Бедная доченька!»

Да знала бы ты, за кого твоя дочь замуж вышла! За классика! - и воображение мгновенно рисует картинку: он знаменит. Его имя у всех на слуху. На улицах с ним раскланиваются незнакомые прохожие. За спиной слышится благоговейный шепот: «Остановился. Стоит. Обдумывает, верно, новый роман». За границей его тоже знают. Тоже раскланиваются.

А здесь, в этой убогой частной квартире, где они сейчас втроем ютятся, где дымит полуразвалившаяся печь и где изо всех щелей, из-за плитусов, из под входных дверей несёт с улицы лютым январским холодом, а когда натопишь, отовсюду лезут эти бесчисленные, неуловимые тараканы, в этой квартире – музей.

Чистенько. Аккуратненько. На свежеевыкрашенной стене дома, со стороны улицы скромная мемориальная доска. И золотыми буквами: «В этом доме, в период с такого-то по такое-то жил с семьей великий русский писатель...» Крашенная женщина-экскурсовод возбужденно-радостным голосом рассказывает притихшей толпе паломников: «Здесь писателем были созданы такие великие произведения, как...», «Здесь он написал...» - на этих словах она вдруг запинаясь, начинает путаться. Озираться. Картинка неожиданно блекнет. Тускнеет. Рассыпается.

«Правда. А что написал-то?» - смутное беспокойство начинает лихорадить классика. «Роман написать что ли? Как Достоевский. Об убийстве. Но из знакомых, как назло, никто пока никого не убил. А без знакомства не пойдешь просто так в полицию, в тюрьму, и не спросишь уголовного: «Расскажи-ка, милый, как ты убивал?» Мне для газеты, и то информации по уголовным делам не давали. А теперь, тем более. И где тогда взять этот чертов сюжет?»

Может, написать что-нибудь автобиографическое, как у Набокова - «Мои берега». Или лучше - «Мои университеты». Хотя нет, это у кого-то уже было. Может, просто, скромно так «Моё детство. Моё отрочество. Моя юность». А вдруг редактор скажет: «А кто ты такой? И на хрена мне твоя юность?» Он же ведь ещё не знает, что я - классик. Обидит. А я не выдержу. Вспылю. Тогда уж точно не напечатают. Они же все там свои. Пролезли же как-то. И эти – пролезли...» - тяжелый, недобрый взгляд Владимира Петровича падает на книги Толстого, Достоевского... Предшественники-классики начинают почему-то раздражать.

«Хотя, Бог с ними, кто их сейчас читает? - пытается успокоить себя Квасин. - Нужно что-то современное, модное. Вот как у этих ... современников. А как, кстати, у них?»

На столе, на краешке книжка в блестящей, яркой обложке, на которой аршинными, кроваво-красными буквами: «Малина Малинина. Возьмите Вашу сдачу» - о днях, буднях уголовного розыска.

«Помню. Читал. Не потяну, - как всякий большой писатель, честно признаётся себе Владимир Петрович. - Я кухню уголовки изнутри не видел. Что хорошо знаю, так это работу вытрезвителя... - Квасин машинально потирает поясницу. - Надо ориентироваться на что-то попроще, на гражданского автора. Вон на ту же Бойцову. И книжки у неё, не в пример Малининой, размером гораздо меньше».

Но и с ней одно расстройство: приведенный в начале каждой желтой книжки список уже написанных Бойцовой пятидесяти иронических детективов, ясно дает понять - за ней не угнаться. Никогда.

«А что я отталкиваюсь от женщин? - спасительно прозревает вдруг Квасин. - Классики - это мужики. Всегда так было. А кто у нас настоящий мужик? Савелий Профессоренко!»

Владимир Петрович лихорадочно раскрывает «Любовь Припадочного», листает и понимает: «Главный герой - Припадочный. Припадочный, а автор, стало быть, ученик Достоевского, и видно, что отталкивался он именно от «Идиота». Вот у кого стоит поучиться!

Ну-ка, ну-ка, как у него написано, почитаем ... «Романов в прыжке выстрелил с обеих ног...(Тьфу!) ...с обеих рук и обе пули попали бандиту в горло. Он рухнул, обливаясь кровью, слезами и соплями...» Квасина мгновенно и резко затошнило.

«Вот что значит настоящий талант, - подумалось ему, - сразу всё представляешь и чувствуешь. И пишет Профессоренко вдумчиво, не по сто романов в год. Кстати, что там вскоре из его книг планируют напечатать?» Квасин заглядывает и читает: «В самое ближайшее время выйдет в свет новый «бестселлер» Савелия Профессоренко - «Припадок Припадочного» - герой попадает в тюрьму, а там ...»

«В тюрьму... - Квасин испуганно озирается. - О тюремном мире я тоже ничего не знаю. Слава Богу! С кого же брать пример? С кого?» - он бьет кулаком по столу. Пытается собрать мысли в кучу и найти выход: «Может, просто лёгонькое написать что-нибудь: «О, Майкл (Андрей, Вася, Петя...))», - простонала она. «Ай-яй-яй» - прохрипел, прорычал он...» Написать и отправить в глянецовый журнал. По крайней мере, они могут напечатать. За свет тогда расплачусь. Катке что-нибудь куплю. «Чупсы» там, «йогурты-уёгурты». Вот спит и не знает, что отец у неё - классик!» - он устало встает из-за стола, подходит к детской кровати, наклоняется над дочкой.

«Надо же! Спит, пигалица. Я уже три часа работаю, а она всё спит. Ни разу не проснулась. Когда не пишу, тогда капризничает. Хнычет. А сегодня - ничего. Пока ничего. А, небось, проснется сейчас, как всегда, в самый неподходящий момент».

Начиная раздражаться, он отходит от кровати к столу. Угрюмо заложив руки за спину и громко скрипя половицами, ходит от стола к кровати и обратно.

Туда-сюда. Туда-сюда. Туда-сюда.

И тут ребенок и впрямь просыпается, трет маленькими кулачками глазки и заливается пронзительным криком: «А-аа! А-Ааа! Аааааааа!»

На плач из кухни, прямо от тазов с бельём, растрепанная, не успев даже вытереть от мыльной пены руки, вбегает жена - испуганно хватая дочку на руки, и словно малютка может понять её слова, шепчет: «Тише, доченька, тише! Не плачь. Папа работает. Тише. Не надо, не прижимайся ко мне - я потная, мокрая...»

И тут Квасин взрывается: «Да что же это такое! Боже мой! Разве это жизнь... Вечно эти пеленки, распашонки. Надоело! Только расписался, настроился... Проклятье!» - он бежит в бешенстве по комнате, - Скроюсь! Уйду! В монастырь!»

Жена прижимает к себе ребенка. На бледном, изможденном лице ее - ужас, отчаянье: опять помешала! Не дала писать. Вообще, загубила ему жизнь.

Покричав, классик спокойно уже выходит на кухню. Пьет чай. Курит. Зевает. Потом раздевается и, не глядя на притихшую супругу, не разговаривая с ней, ложится спать.

Через пять минут он уже ровно и мирно похрапывает, раскинувшись на спине во всю кровать, и, скинув во сне одеяло на пол.

Жена, устав качать на левой руке успокоившуюся дочь, осторожно укладывает её обратно в кровать. Потом тихонько поднимает с пола упавшее одеяло. Укрывает мужа. Вздыхает.

Смахивает со лба пот. Устало смотрит на письменный стол (она хотела купить новую зимнюю коляску Катеньке, но муж настоял - стол!) Смотрит на грудку постиранного и аккуратно сложенного на стульях детского белья. Корит себя: «Вот опять выстиранное погладить не успела. Натопила. Принесла воды. Пеленки почти все достирала. А погладить не успела. И везде такой беспорядок...» Прикрывает куском чистой марли детское белье.

Потом подходит к письменному столу. Осторожно и аккуратно складывает разрытые по всему столу книги. Убирает в сторону нетронутую, белоснежную пачку бумаги. Снова вздыхает. Смотрит на своего мужа-классика. И какая-то тяжёлая, подспудная мысль начинает тревожно зарождаться в глубине ее усталой души. Какая-то мучительная мысль. Но какая?

Афиноген Графов. *Тульская губерния.*



Помни – Господь дает по сердцу:
какое сердце, таков и дар.
(Св. пр. Иоанн Кронштадтский).



"Ни один по-настоящему великий человек
никогда не считал себя великим."
(Уильям Хэзлитт)



ДАР БОГА



Господь по сердцу дар дает,
Дар сердцу твоему подобен.
Коль сердце святостью живет,
То дар велик и бесподобен!
Коль сердце жадное в груди,
Возмущатся скупость и хотенье,
Суетность, беды впереди,
А позади сует кипенье.
Коль сердце чисто, будет чист

День каждый, и любой прохожий,
И всякий жизни миг лучист
И на другие не похожий.
А если в сердце пустота,
То тщетны будут все стремленья,
И не привьётся красота,
Не возгорится вдохновенье.
По сердцу дар Господь дает,
И милость в сердце воздает!

28.06.2015 **Невярович**



*Завтра (сущ.) мистическое место, где хранятся
вся человеческая продуктивность, мотивация и достижения.*

ГДЕ ЦАПЛИ НОЧУЮТ?



Сам-то охотник, нет? - первый вопрос человека с соседней койки. На веревчатой вихлявыми колёсиками каталке меня только что ввезли в палату, медсестры и санитар перевалили на жёсткую кровать-трансформер, воткнули в обе руки стальные иглы капельниц и ушли. В вопросе моего соседа было столько надежды, что огорчить его я не посмел. Но и ответить не успел.

А зовут как? Меня - Валерием. - Второй вопрос и ответ на мною не заданный.

Я назвал, сказал, что сейчас предпочитаю рыбалку, тихую охоту без выстрелов. А по молодости с ружьём бегал.

Как-то сразу сошлись. Двум добродушным инфарктникам с соседних больничных коек всегда есть о чём потолковать. И переговаривались мы часами напролёт: с предзвездных зимних сумерек, пожелав друг-другу доброго утра, днями, вечерами и ночами, включив, либо позабыв зажечь, прикроватные светильники. Когда ты лежишь в больнице, время суток не имеет значения. Тем более, что молоденькие медсестры цокают каблучками по коридорам, хохочут, гремят и разговаривают, никогда не снижая децибелы с дневных на ночные.

Вставать ещё не разрешали, к нашим рукам тянулись прозрачные щупальцы капельниц. Но по ночам мы слезали с железных кроватей и, взяв в руки шаткие штативы с провисшими бутылочками физраствора, подходили к окну, смотрели с пятого этажа на блеклую безлюдную улицу, хозяевами которой в эти часы были стаи бродячих собак, перебежавших дорогу то в одну сторону, то в другую, да ещё кареты «скорой помощи», раздражённо сверкая маячками, подкатывали и отъезжали.

Валерию семьдесят, мне пятьдесят пять. Мы в той возрастной поре, когда пятнадцать лет нашей разницы уже не разделяют. Разговаривая на «ты», увлечённый беседами, я так и не удостоился узнать отчество моего товарища. А фамилия его - Щепкин, - он пошутил: «лесная фамилия». Сам - сухой, сутулый, долгоногий, длиннорукий, лицо тёмное в глубоких бороздах.

- У меня любовь к лесам, озёрам, рекам, лугам - от отца. Когда ещё малым мальчонком был, жили мы в таёжном посёлке. Красота там - умирать не надо, не налюбуйешься. Отец уйдёт на охоту, через недели возвращается измотанный, худющий, а глаза - глазищи огромные, счастьем светятся. И не трофеем был рад, я чувствовал. Уже тогда меня к походам приучал, про тайны и загадки лесного мира рассказывал.

Повествовал мне Валерий о своих походах и охотах. Скучная вселенная больничной палаты и апокалипсического пейзажа ночной улицы теряла границы. Представлялась великая тайга, наполненная тайнностями. Виделись, дышащие нежными туманами, тёмные лесные озёра. Трепетная весна, томливое лето, полная чарующих красок осень, сказочная снежная зима с морозами, от которых «даже зубы мерзнут».

По понятным причинам, обитателям нашей палаты волноваться нельзя. Но без эмоций рассказывать об охоте Валерий не может:

Охота - страсть, азарт, праздник. Я на водоплавающую, реже - на боровую дичь хожу. Никогда не было цели набить побольше. Как-то с братом загород выбрались, и он из нового ружья выстрелил в табушок куличков. Семь птиц упали. Вся стайка, весь выводок! Оба расстроились. Больше с тем ружьём брат на охоту не ходил... Сам стреляю метров от сорока пяти до семидесяти. Надо дать шанс и птицам и себе.

Признался в причуде - отовсюду вычитывает и заучивает наизусть стихи об охоте. Зимой собирает стихи, снаряжает патронташи, чистит любимые ружья, пряча от окружающих нарастающий мальчишеский восторг ожидания сезона охоты. Маленькое сумасшествие разумного человека, дедушки и прадедушки.

Даже не глядя на соседа, я слышу, как тот улыбается. Что-то вспомнил. Оказывается, стихи:

Охота - это жизни повесть,
Где каждый шаг своё сулит.

Не раз меня в угодах совесть
И очернит, и обелит...

А вот ещё, из другого поэта:

Внезапно дождь мой лоб остудит,
Туман дорогу украдёт,

Дурак печаль мою осудит,
Веселья умный не поймёт.

А стихи-то, чувствуется, написаны со знанием темы. Авторы Валерий не запомнил. Сказал, что в последние годы в дальние таёжные походы берёт с собою старенький томик Пушкина.

- Валера, - напрягаю я память, - Александр Сергеевич стихов об охоте почти и не писал.

Мало писал. Не успел. Пожил бы с моё, обязательно бы про охоту написал. Я ведь благодаря природе и стал Пушкина понимать. Когда в тайге неделю-другую проведу, появляется во мне какое-то равновесие. Как будто очищаешься от всего наносного, и просветление приходит. Открываю Пушкина и начинаю сознавать всю глубину его поэзии, душевное настроение и чувства, с какими он писал. Только послушай:

И тут ко мне идёт незримый рой гостей,	И рифмы лёгкие навстречу им бегут,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.	И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
И мысли в голове волнуются в отваге,	Минута - и стихи свободно потекут.

- «Осень». Неоконченное стихотворение, - говорю я, а про себя отмечаю, как хорошо он произнёс пушкинские строфы.

- Неоконченная осень... - задумчиво вторит Валерий. - Но это погружение у меня только в тайге случается. Дома сколько ни пытаюсь Пушкина читать, не могу такого добиться.

Много интересного я узнал о случившемся товарище.

Имеет в пригороде заветный садовый участок, там эксперименты проводит, растения прививает. Лично выведенные и разведённые плодовые деревья и ягодные кустарники высаживает не только на кровных сотках, а где душе заблагорассудится. На пустых степных бурханах за речкой Ивановкой рассадил собственной селекции груши, облепиху, смородину, малину, а та, хотя и не прикопачная, размеров, говорит, огромных и урожаев для нашего края немалых. Тоже и в других местах: кустики высаживает и жестяные таблички к колышкам прибывает - «Это для вас. Не ломайте.» Образование - заочный техникум связи, работал электриком. А когда-то любимыми школьными предметами были ботаника и биология. С последней дисциплиной случилась в его школьной жизни занятная история:

Преподавательница биологии заученно пересказывала семиклассникам содержание школьного учебника, ни больше, ни меньше. А Валерий его прочитал за два дня, было ему на уроках скучно. Учительница это заметила, невзлюбила, что и продемонстрировала. Как-то пришли проверяющие из районного отдела образования, заняли лавки задних парт, школьников по трое сгрудили на передние. Уже почти провела учительница урок, спрашивает у класса:

- Дети, есть вопросы по сегодняшней теме?

Здесь Валера Щепкин и встал:

- У меня есть два вопроса. Только они не по теме урока, а просто по биологии. Можно задать?

Представители комиссии кивают:

- Ежели вопросы интересные, задавай.

Он и задал. Первый вопрос: если дождевого червя разорвать на половинки, он будет жить? Второй вопрос: где цапли ночуют?

Учительница, хотя и нервничала, ответила уверенно: червяк, конечно, погибнет, а цапли ночуют, стоя на болоте, в камышах.

Потом, видимо, был скандал. Потому что директор школы на следующий день вызвал Валеру в кабинет, пристыдил, мол, не хорошо так учителя подводить и задавать каверзные вопросы. Как ей после этого его, оболтуса, учить?

Щепкин спросил разрешения сдать биологию экстерном. Директор подумал, согласился.

Спустя сколько-то дней, целый час пыталась его специально назначенная комиссия. Сдал на «отлично».

Рассказал мне сосед эту историю, и замолчал. А я стал представлять себе серую цаплю. На наших озёрах и болотах её то там, то сям увидишь. Осторожно ступая голенастыми синюшно-красными ногами, зайдёт в воду повыше щиколоток, втянет длинную шею, голову с толстым острым клювом плечами сожмёт, ссутулится и стоит замерши, задумчиво так, только глаза, жёлтые с чёрными ободками и угольками зрачков, живо и лукаво поблескивают. То днём. А где она ночью спит? Всё-таки не выдержал, спросил:

- Валера, я ведь рыбак. То, что половинки дождевых могут превратиться в полноценных червяков, с детства знаю. Но, сколько ни ночевал на озёрах и реках, так и не задумывался - где цапли ночуют.

- Цапли? Цапли ночуют на деревьях.

Однажды в полночь через распахнутую дверь увидел, как санитар на повизгивавшей каталке провёз умершего, с натянутой на лицо простыней. Бедняга, - подумал я, - поверил смерти. А лежал бы с Валерой в палате, слушал наши разговоры, может, и жил бы ещё.

Потерянная проклятая работа, предавшие друзья-приятели, несбывшиеся надежды... Разве стоят они существования жизни? Даже то, как наши хорошенькие медсестрички каблучками звенят - достойно большего внимания.

Александр Герасимов.
Март 2011 г. г. Благовещенск



*Оптимист верит, что мы живём в лучшем из миров.
Пессимист боится, что так оно и есть. М. Жванецкий.*



Молитва о любимых

О всех друзьях, разбросанных по свету,
О всех любимых, милых и родных
Среди лучей торжественных рассвета
Прими молитву, Господи, о них!

Пусть каждый миг им будет благодатен,
Храни их путь, и каждый шаг храни,
Прошу, молю любви сверх меры дать им,
Прими молитву, Господи, о них!

Цветет сирень, предшественница лета,
Свечу от ветра заслонит рука,
Прими, Господь, мою молитву эту,
Летит она легка за облака.

Когда проснутся те, о ком молитва,
Им ветерок подарит свежесть дня,
На небесах симфония разлита,
Она разбудит утром и меня.

Прими, Господь, молитву о любимых,
Я по росе пройду, о них моля,
Дай силы им любить и быть любимым,
Молитву нежно повторит Земля.

О всех друзьях, разбросанных по свету,
О всех любимых, милых и родных
Среди лучей торжественных рассвета
Прими молитву, Господи, о них!

Светлана Кабанова.

Белоруссия - Германия

Божии строки

Льются Божии строки поэта -
Их дыханье легко и привольно, -
Как лучи золотого рассвета.
Как серебряный гул с колокольни...

Эти строки несут примиренье -
В них отрада душе человека, -
За надежду, за благодать смиренья,
Будут жить до скончания века.

10-6-2015

Тамара Малеевская. Брисбен.

Гроза

Обрывки тучи и пятно луны.
Гроза ушла. А ночью чудно было:
нас, не жалея, молния слепила,
и буйным ливнем были мы хмельны.
Весь город плыл, подобный кораблю,
всё дальше, дальше - в сторону Гудзона.
Гроза, постой, я так тебя люблю,
дай надышаться каплями озона.
Ответа нет. Смотрю во все глаза -
и лишь клочки невыплаканной тучи
напоминаем радости летучей
её огней доносят голоса.

Валерий Пайков. Израиль.

18.11.2011

*Вбивая гвоздь в душу человека, помните, что даже
вытащив его своими извинениями, вы все равно оставите там дыру.*

Саломея

Приключения, почерпнутые
из моря житейского.
Александр Фомич Вельман.

Начало см. № 54

Продолжение

КНИГА ПЕРВАЯ

Часть третья

IV



Обратимся теперь к нашей героине, которую, может быть, читатель успел уже невзлюбить и согрешил. Душа человека, как почва, которую можно не возделывать совсем, и тогда она будет технически называться пустошью; можно возделывать и засеять пшеницей и чем угодно. Урожай от Бога, а без ухода и умения ухаживать добро прорастет чертовым зельем. К этой старой морали прибавим то, что человеку дан разум и право самому себя возделывать. Он и может себя возделывать, преобразовывать к лучшему. Но каково выполоть из самого себя какое-нибудь чертово зелье, которое пустило корни во все изгибы сердца? И хочется вырвать, да смерть больно! А иной неверующий разум подумает: да к чему? будет ли от этого лучше, успею ли я выполоть душу, возделывать снова, возрастить сладкий и здоровый плод и вкусить от него? Подумает, да так и оставит. Человеку нужно добро, как насущный хлеб. Не имея собственного добра, он непременно заест чужое добро. В пример ставим Дмитрицкого и Саломею Петровну, которые скачут теперь из Москвы, по мыслям Дмитрицкого в Киев, а по словам его покупать имение на чудных берегах Тавриды и там поселиться.

- О, мы будем вкушать там рай! - говорит Саломея Петровна, пламенно смотря ему в глаза.

- Как же! именно, радость моя; мы там будем счастливы, - держит ответ Дмитрицкий. - Именно, радость моя, уж если жить - так жить! Однако что-то теперь подделывает твой муж?

- Ах, не напоминай мне о нем! - произносит Саломея Петровна с чувством. - Если б ты знал, какие ухищрения были употреблены, чтоб выдать меня за него замуж!

- Ах, это любопытно; расскажи, пожалуйста, - проговорил Дмитрицкий зевая.

- Я как будто предчувствовала, что мне суждено было встретиться с тобой, и, несмотря на все искания руки моей, я отказывала...

- А ты веришь предчувствиям?

- О, как же! А ты?

- О, без сомнения! Я по предчувствию ехал в Москву.

- Неужели? По какому же?

- Во-первых, я торопился в Москву совершенно как будто влюбленный уже в тебя; мне казалось, что у меня ничего нет, кроме сладостной надежды встретить в Москве то, чего душа моя требует... И вот я нашел, что мне нужно было.

И Дмитрицкий приложил левую руку к шкатулке, а другою обнял Саломею.

- Это удивительно!

- Чрезвычайно!

Между тем наши путешественники приехали в Тулу. Дмитрицкий велел ехать в гостиницу.

- В трактир? - спросил ямщик.

- Ну, да!

- Ах, пожалуйста, найдем лучше квартиру! Как можно в трактире останавливаться, это отвратительно!

- Помилуй, что тут отвратительного; в гостиницах все проезжие останавливаются.

- Нет, нет, как это можно!.. неравно еще я встречу кого-нибудь из знакомых...

- Так что ж такое? Тем лучше! Пожелаешь им счастливого пути в Москву и велишь кланяться всем знакомым и извиниться, что уехала не простившись с ними.

- Ах, нет, я не могу перенести стыда!

- Это что такое? Стыд со мной ехать? Этого я не знал! Если стыдно ехать со мной, так зачем и ехать.

Пррр! Карета остановилась подле гостиницы; наемный человек из иностранцев отворил дверцы.

- Этого я не знал! - продолжал Дмитрицкий, - так я избавлю вас от стыда ехать со мной.
И Дмитрицкий полез вон из кареты.
- Николай! - вскричала Саломея, схватив его за полу сюртука.
- Позвольте мне идти!
- Не сердись на меня! Делай как хочешь, мой друг! Помоги мне выйти из кареты.
- Вот это дело другое. Я противоречий не умею переносить; так, так так!.. а не так, так - мне все нипочем: у меня уже такой характер.
- Ах, Николай, как ты вспылчив! - сказала Саломея, когда они вошли в номер гостиницы.
- От этого недостатка или, лучше сказать, излишества сердца я никак не могу отучить себя.
У меня иногда бывают престранные капризы, какие-то требования самой природы, и если противоречить им, я готов все и вверх дном и вверх ногами поставить.

Дмитрицкий приказал подать обедать и, между прочим, бутылку шампанского.

- Мы, душа моя, сами будем пить за свое здоровье; это гораздо будет лучше. Ты знаешь, как люди желают? На языке: «желаю вам счастья», а на душе: «чтобы черт вас взял». Мы сами себе пожелаем счастья от чистого сердца, не правда ли?

- О, конечно!
- Ну, чокнемся и поцелуемся; ты - моя надежда, а я - твой друг!
- За твое здоровье, ты мои желания знаешь.
- Что ж, только-то? Прихлебнула?
- Я не могу пить, Николай.
- Хм! Это худая примета! - сухо сказал Дмитрицкий.
- Ты сердисься, ну, я выпью, выпью!
- Вот люблю! - сказал Дмитрицкий. - Для взаимности, душа моя, необходимо иметь одни привычки.

После обеда Дмитрицкий вышел в бильярдную. Бильярд был второклассным его развлечением; за неимением партии застольной, он любил испытать свое счастье с кием в руках, а иногда играл так, для разнообразия, и даже для моциону.

Покуда хватилась и нашла его Саломея, он уже успел вызвать на бой одного ротмистра, по червонцу, и играл преинтересную партию. У противников было по пятидесяти девяти, и дело было за одной билей, которая долго не давалась ни тому, ни другому.

- Идет пари! - вскричал Дмитрицкий.
- Пожалуй, бутылка шампанского.
- И мазу к ней пятьсот рублей: эта биля стоит того.
- Много! - сказал ротмистр. - Господа, отвечаете за меня?
- Отвечаем! - вскричали прочие офицеры, заинтересованные партией.
- Идет! Ну, прищуривай, Агашка, на левый глаз! - крикнул ротмистр, которому был черед играть.

Все шары стояли подле борта; ротмистр решился делать желтого дублетом; ударил - шар покатился к лузе. У Дмитрицкого ёкнуло сердце, он стукнул уже кием об пол. Но шар остановился над самой лузой.

- Стой, друг! Отдаете партию? - вскричал Дмитрицкий, видя, что ротмистр с досады бросил кий.
- Извольте играть! - сказали офицеры.
- Не верите? Да это стыдно играть! - сказал Дмитрицкий и наметил в шар, который стоило только задеть, чтобы он свалился в лузу.

В это самое время Саломея, закрытая вуалем, взглянула в двери и, не зная, что Дмитрицкий в таком положении, когда под руку опасно звать, крикнула нетерпеливым голосом:

- Николай!
- Промах! партия! - вскричали офицеры.
- Пьфу! - вскричал Дмитрицкий, швырнув кий на бильярд.
- Пора ехать, - сказала Саломея.
- Да что мне пора ехать! Черт знает что! Кричать под руку! Да подите, пожалуйста! Саломея вздрогнула: так прикрикнул на нее Дмитрицкий.
- Эта партия не в партию, господа, - сказал он, - надо переиграть!
- Нет, очень в партию, - сказал ротмистр, - если хотите, новую.
- Извольте! - сказал Дмитрицкий, - на квит!
Руки его тряслись от досады; с ним не опасно было играть.
Он проиграл три раза на квит и, ясно чувствуя, что не может играть, бросил кий.

За пазухой у него было только три тысячи, отложенные из шкатулки, на дорогу; целой тысячи не доставало. Это для него было хуже всего: ключ от шкатулки был у Саломеи, надо было просить у нее денег.

- Остальные сейчас принесу, господи, - сказал он, уходя в свою комнату.

Саломея сидела на диване, закрыв глаза руками, в ней боролись две страсти - молодая любовь с старой гордостью.

- Помилуй, друг мой, что ты сделала со мной! - сказал Дмитрицкий, подходя к ней.

Саломея ничего не отвечала.

- Я, впрочем, тебя не виню, ты не знаешь условий бильярдной игры; но ты могла меня осрамить.

- Чем я вас осрамила? Вы меня осрамили!

- Хм! Теперь у меня вспыльчивость прошла, и потому я тебе объясню, в чем дело. Ты не знаешь, что на бильярде есть такая легкая билья, что тот, кто не делает ее, должен лезть под бильярд. Ты крикнула под руку, я дал промах... и должен за неисполнение условия или драться на дуэли, или откупиться суммой, которую с меня потребуют. Под бильярд, разумеется, я не полез, платить четыре тысячи из твоего капитала также не хочу, так прощай покуда.

- Николай! Николай! - вскричала Саломея, удерживая Дмитрицкого за руку, - я тебя не пущу!

- Нельзя, душа моя, честь выкупается кровью или жизнью.

- Ты меня не любишь! Ты не считаешь моего своим!..

- О, теперь я вижу, что ты моя, что твоя любовь беспредельна! Прости же за неверность!

- Сколько же тебе нужно, друг мой, денег? Вот ключик от шкатулки... отдай им поскорее!

- Да, и поедем поскорее отсюда! Мерзавцы, рады, что получили право содрать с меня сколько хотят! - сказал Дмитрицкий, вынимая из шкатулки деньги.

- Это я виновата.

- Полно, пожалуйста; ну чем ты виновата? Что не знала условий? Да и такие ли есть: например, я бы сел играть в карты, а ты - из удовольствия всегда быть со мною - вздумала бы сесть подле меня, или даже стоять подле стола... Просто беда: тотчас подумают, что ты пятый игрок и крикнут: «Под стол, сударыня!» Вот и причина дуэли...

- О, я уверена, что ты не играешь в карты!

- Напротив, играю, и большой охотник.

- Нет, cher, я не верю тебе; ты поэт, известный литератор, ты не бросишь время на карты, ты посветишь его любви и вдохновению...

- Нет, душа моя. О литературе мне больше ни слова не говори! А о поэзии ни - полслова! Я тебе запрещаю.

- Почему же, друг мой?

- Ни почему. Так. Запрещаю без причины.

- Это странно! Мне ты не хочешь сказать.

- Чтоб сказать, надо объяснить причину, а причины нет. Что ж я тебе скажу?

- Не понимаю!

- Ну, и слава Богу.

- Такой известный поэт - и так вооружен против литературы...

- Известный? Неправда! Ты что читала из моих сочинений?

- Ах, да мало ли... я и не припомню заглавий...

- Да, конечно, заглавия произведений известных сочинителей очень трудно припоминать, потому что у них всегда какие-нибудь мудреные заглавия. Ну, а не помнишь ли что-нибудь, какую-нибудь тираду из моей поэмы?

- Ты таким тоном говоришь, что я, исполняя твое запрещение говорить о литературе, умолкаю.

- Увертка бесподобная, истинно светская! Видишь ли, душа моя, что причина сама собой объясняется: ты не читала моих сочинений, потому что я ничего и никогда не сочинял.

- Ах, оставим, пожалуйста, разговор о литературе!

- И прекрасно: взаимное запрещение. Едем, едем, путь далек!

До Киева особенных происшествий с нашими беглецами не случилось. В Киеве Дмитрицкий остановился в гостинице у жида. Тут он дышал свободнее, как человек светский, который приехал домой, где имеет уже право сбросить с себя все одежды приличия и быть тем, чем он в самом деле есть: сбросить все прикрасы с грешного тела и посконной души, все чужие перья,

несвойственную любезность, принужденную улыбку, терпимость и угодливость, мягкий голос, все признаки ума, познаний и свойств человеческих, и - явиться в своих четырех стенах, с успехом или неуспехом, с сытой или проголодавшейся душой. Тут, как ловчего кречета, кормит он ее сырым мясом всего окружающего. Она клюет сердце всех домочадцев и всей челяди. От этого корму ему убытку нет; сердце каждого человека, как у Прометея, выклеванное днем, заживает во время ночи. А кто же из окружающих какого-нибудь жирного или желчного Юпитера не Прометей? Кто похитил, хоть ненароком, миг его спокойствия, тот и Прометей.

У Дмитрицкого не было ни чада, ни домочадцев, у него в зависимости была только Саломея Петровна; но она была такое грандиозное или, по-русски, великолепное существо во всех своих приемах, такое тяжелое, натянутое, надутое, напыщенное, приторное, что Дмитрицкий во время дороги часто вскрикивал:

- Фу! Какая обуза! Мочи нет! - и, расправляя свои члены, потягивался.

- Ты устал, топ ами, от дороги? - повторяла нежным голосом Саломея.

- Устал, душа моя, всего разломало, голова одурела!

Приехав в Киев, он вскрикнул:

- Фу! Здесь надо отдохнуть. Ты покуда распорядись всем, а я пойду похлопочу о найме дома, потому что действительно неприятно стоять в трактире.

- Ты всегда поздно соглашаешься с моими словами, - заметила Саломея. - Но зачем же тебе идти самому? Пошли кого-нибудь... - я умру со скуки.

- Кстати, я озабочусь о поваре, который бы умел готовить для тебя французский стол.

- Ах, да, я совсем не могу кушать того, что здесь подают.

- Знаю, знаю. Я видел, что ты - только из угождения мне не умерла, друг мой, с голоду. Но я распоряджусь, чтоб сделать твою жизнь раем. Прощай, мой ангел, на минутку.

Минутка тянулась за полночь. Саломея в отчаянии. Она разослала всех факторов, состоящих при гостинице, и всех жидков, предлагающих путешественникам свои услуги с улицы, через окно.

Жиды-факторы такой народ - на дне моря отыщут все что надо и кого надо.

Все они по очереди отыскивали Дмитрицкого в одном из номеров другой гостиницы, в честной компании. Все по очереди докладывали ему, что, дескать, барыня, васе благородие, прислала за вами. Всем было ответ:

- Убирайся, проклятый жид; да если ты скажешь, что нашел меня, так я тебе вместо вот этого полтинника рожу переверну на затылок, слышишь? Ну, пиль, собака!

Жид брал деньги и возвращался к Саломее Петровне с докладом, что не нашел барина.

Десятому посланцу, прибывшему уже около полуночи, Дмитрицкий велел сказать барыне, что барин в гостях у графа Черномского, ужинает и сейчас воротится.

Саломея успокоилась. Но, верно, ужин долго продолжался, потому что Дмитрицкий воротился перед рассветом.

- Ну, душа моя, - сказал он входя, - я здесь нашел целый полк товарищей, сослуживцев и тьму знакомых. Граф Черномский, старый сослуживец, затащил к себе, засадил в карты, я отговаривался - куда! Да вот что хорошо: знаешь ли, что я покупаю в Крыму Алушту - это рай! Самое лучшее и богатейшее имение, приносит доходу от одних грецких орехов сорок тысяч, да виноградные сады дают двадцать пять тысяч, да крымских яблоков тысяч на десять, не считая апельсины, фисташки, персики, дыни, арбузы, бесподобный меблированный дом со всеми принадлежностями... на самом берегу моря.

- Ах, как это очаровательно!

- И это по случаю; я дал уже задатку пять тысяч.

- Но как цена?

- Миллион.

- Миллион! помилуй, где ж нам его взять? У нас только сто тысяч.

- Помилуй, душа моя, да ты не знаешь, что значат сто тысяч наличных в руках оборотливого человека. Ведь это то же, что храбрая стотысячная армия, которою можно не только разбить миллион войска, но покорить весь свет.

- Ah, cher, как ты поэтизируешь!

- Нет, пожалуйста, о поэзии ни слова! Ты знаешь, я не Люблю противоречий. Да и вообще теперь уж поздно рассуждать о делах: утро вечера мудренее. Уф! Напоили меня крымским шампанским разных сортов, из виноградных лоз нашего имения... - я пробовал, пробовал... Пьфу! Кисел виноград! Покойной ночи, друг мой.

Искание квартиры продолжалось несколько дней. А между тем к Дмитрицкому с визитом являлись разные лица, которых он рекомендовал Саломее как помещиков Киевской губернии. Манеры их были не ловки, но смелы и бесцеремонны, польское наречие странно. Саломея смотрела на них, как на необразованных провинциалов, и, сохраняя свое достоинство большого света, обошлась очень сухо. И не могла скрыть неудовольствия, что Дмитрицкий не пощадил ее от этого знакомства.

Повертевшись несколько на стульях и отпустив несколько комплиментов Саломее, вроде «барзо есэм сченсливы, цо мя-лэм хонор видзець такэ вельке дамэ!» - они все заключали прощанье с Дмитрицким словами: «террас юж время до косцёлу; до зобаченья пане, у пана грабе Черномского! Так есть?»

- Да, да, да, я надеюсь, - отвечал Дмитрицкий.

- Я не понимаю, как тебе вздумалось знакомить меня с этими уродами!

- Здесь уж такой тон, моя милая: простота и бесцеремонность. Тебе надо привыкать. Впрочем, это чудачки, деревенщина. Но я тебя познакомлю с графом Черномским - в нем ты увидишь человека образованного.

- Сделай одолжение, избавь меня от всех знакомств. Мне нужен ты, и больше никого!

- «Пьфу, обуза какая!» - сказал Дмитрицкий про себя.

- Вместо того чтоб отвечать на мои ласки, ты молчишь, надулся... Это меня убивает.

- Да невозможно, милая! Ты хочешь все по-своему.

- Что ж я хочу по-своему? То, что не желаю никаких знакомств?

- Я также имею отношения к людям; мне нельзя их разорвать. Взял да поехал в Крым, поселился на чистом воздухе, да и прав... Этого нельзя: не орехами же питаться, надо чем-нибудь жить.

- У нас есть средства: будто недостаточно ста тысяч, чтоб прожить век вдвоем счастливо и спокойно...

- Скажи, пожалуйста! Сто тысяч! Огромный капитал! В Крыму, где на первое обзаведение нужно вдвое... Я не могу жить по-татарски - под деревом! Да и ты, я думаю, этого не захочешь.

- Откуда же взять нам миллионы? Впрочем, я не знаю, как велико твое собственное состояние: ты собираешься покупать имение в миллион.

- То-то и беда, что не знаешь, а говоришь... И куплю в миллион! Но без Черномского я не могу этого сделать...

Грабе Черномский верно легок на помине.

- Ба! Черномский! - сказал Дмитрицкий, увидев в окно подъезжающие дрожки к крыльцу. - Сделай одолжение, будь с ним как можно приветливее; он - приятель мой, и один из богатейших помещиков. От него я надеюсь получить сумму для покупки имения в Крыму, которое приносит тысяч сто... виноградных лоз... А! Граф, мое почтение! Очень рад! Рекомендую вам жену мою.

Грабе Черномский удивился, видя перед собой статную, прекрасную женщину, богато одетую, и что-то вроде Беллоны.

- Я не знал, что вы женаты, - сказал он, - и что такая прекрасная особа осчастливила вас. Извините, сударыня, что явился к вам так неавантжно... это не моя вина.

Саломея села, немножко смутясь, сделала приветливое движение головой, просила садиться, предложила несколько светских вопросов, чтоб оказать внимание гостю, но таким тоном, который воздерживал привычное с женщинами любезничанье Черномского и притуплял меткие взоры черных его глаз, привыкших пожирать красоту.

«О, какая строгая! - подумал он. - Верно, в первом еще пылу любви!»

- Я у вас отниму на сегодняшний день вашего супруга, - сказал он Саломее.

- Вы меня лишаете удовольствия быть вместе с мужем, - отвечала она сухо, - каждая минута разлуки с ним для меня потеря.

- Вы очень счастливы, - сказал Черномский, обращаясь к Дмитрицкому.

- Счастлив, - сказал Дмитрицкий, взяв руку Саломеи, - мы живем душа в душу.

- А давно уже женаты? - спросил значительно Черномский, устремив прищуренный взор на Саломею.

Она вспыхнула с выражением негодования.

- Довольно давно, - отвечал Дмитрицкий, - после нашего свидания у Савицкого я вскоре поехал в Москву, влюбился, и она моя.

- Стало быть, около года?

- Да, месяцев с восемь.

Смущенная Саломея хотела выйти в другую комнату, но вдруг вошел офицер, произнес: «Ах-с», и подошел к ручке. Саломея еще более смутилась.

Этот офицер незнаком читателям, но знаком был уже Саломее Петровне. Это был товарищ мужа ее, Федора Петровича Яликова, казначей полка, в котором он служил. В бытность в Москве для приема комиссариатских вещей он навещал Федора Петровича и, следовательно, имел честь познакомиться и с его супругой. Робкий от природы, он всегда смущался перед новыми лицами и не умел управлять ни движениями своими, ни мыслями, ни словами.

- А супруг ваш-с? - спросил он, поцеловав ручку Саломеи.

- Я, к вашим услугам, - торопливо вызвался Дмитрицкий, видя, что Саломея смутилась.

- Как-с... кажется, Федор Петрович Яликов? - сказал казначей, смутясь и сам.

- Так точно-с, - отвечал Дмитрицкий.

- Нет-с, вы шутите, - сказал казначей, - я знаю их супруга.

- А-а, вам Федора Петровича - первого ее мужа! - вскричал Дмитрицкий, спохватившись: - он умер-с.

- Умер! Ах, Боже мой! - проговорил горестно казначей. - Стало быть, недавно, потому что не более двух недель, как я получил от него письмо.

- Да-с, очень недавно, перед нашим отъездом, - отвечал Дмитрицкий, сбившись в свою очередь с толку.

- Как это жалко! - сказал казначей, не зная, что более сказать на молчание Саломеи и на резкие ответы Дмитрицкого.

- Да-с, очень жалко! - отвечал сухо Дмитрицкий, желая скорее отделаться от гостя и смотря ему в глаза, как будто в ожидании, что ему еще угодно будет спросить. Пан грабе также пристально и с сардонической улыбкой уставил на него взор. Казначей совсем потерялся; он бросился снова к ручке Саломеи Петровны и, по привычке, забывшись, просил ее свидетельствовать свое почтение Федору Петровичу.

В смущении, в забывчивости и она по привычке проговорила:

- Покорнейше вас благодарю.

Казначей отретировался. Пан грабе, а вслед за ним и Дмитрицкий захохотали.

Саломея Петровна, закусив губы, вышла в другую комнату.

- А что за така мизерна гистория? - спросил Черномский.

- А то, пане, не гистория, а интродукция в гисторию, - отвечал Дмитрицкий.

- Разумем, пане, то штука! Я мыслил же - панья в самом деле жона пана. Да ходзим же, ходзим, юж время!

- Сейчас, - сказал Дмитрицкий.

Он вошел в комнату Саломеи. Она лежала на диване, скрыв лицо свое в подушке.

- Спит! - проговорил тихо Дмитрицкий, торопливо выходя из комнаты.

- О нет, не сплю! - сказала Саломея; но Дмитрицкий уже исчез.

Саломея в первый раз почувствовала тоску разочарования и не в состоянии была облегчить себя слезами. Плакать, казалось ей, всегда низко. Она чувствовала, что в Дмитрицком чего-то недостает для нее, но самолюбие не позволяло сознаться ей, что недостает в нем любви. Женщина с сердцем сказала бы вслух сама себе: он меня не любит! и залилась бы слезами. Но Саломея была горда, она терзалась втайне от самой себя.

Вечеру вдруг дверь отворилась, вошел Черномский.

- Извините, сударыня, - сказал он, - сожалея вас, я пришел спасти вас от человека, который вас погубит.

- От какого, сударь, человека? - гордо спросила Саломея.

- От того, который уже вас обманул мнимой своей любовью, от мерзавца, от игрока!

Саломея остолбенела.

- Я увидел вас - и не мог не пожалеть об вас: вы так прекрасны, вы такой ангел! Этот подлец, которого, я уверен, вы не можете любить, проиграл все, и теперь поставил вас на карту! Я не мог этого перенести, побежал к вам умолять вас предаться моему покровительству...

- Вон! - вскричала Саломея, долго молчавшая, и показала рукой двери. - Вон! Покуда я не позвала людей!

Черномский вышел.

Как истукан просидела Саломея весь вечер и почти всю ночь, не двигаясь с места, в ожидании Дмитрицкого, чтоб сказать ему что-то грозное. Но... стало рассветать, двери хлопнули, он быстро вошел - бледный, растерзанный. Саломея испугалась.

- Что с тобой? Николай, друг мой! - вскричала она.

В другой комнате раздались голоса, дверь приотворилась - несколько знакомых уже Саломее лиц показались в дверях.

- Прочь отсюда! - вскричал Дмитрицкий, ухватив стул.

- Отдавай, любезный, деньги, так мы и пойдем! - сказал один высокий здоровяк, красная рожа, рекомендованный Саломее помещиком, прекрасным человеком.

- Ждите, собаки! Сюда ни шагу! - крикнул Дмитрицкий, захлопнув дверь. - Саломея, эти подлецы обыграли меня! Это шайка мошенника Черномского! Есть у тебя еще деньги?

- Нет! - отвечала Саломея трепещущим голосом, закрыв лицо руками.

- Нет? Ну, конечно! Денег нет, так дудки есть!

И Дмитрицкий схватил со стены пистолет.

- Николай! - вскричала Саломея, - возьми мои брильянты, возьми всё!

- Давай! Где они? Скорее!

Саломея вынула из чемодана ящик. Дмитрицкий схватил его и выбежал в другую комнату. Саломея слышала только: «Извольте идти за мной!» Чувства ее оставляли.

Когда она очнулась, подле нее была только хозяйка, еврейка Ганза.

- Куда ж это вы переезжаете, сударыня? - спросила она ее.

- Куда я переезжаю? Кто переезжает? - вскричала Саломея, окинув взором комнату и не видя ни одной из вещей своих.

- Ваш человек забрал все вещи и сказал, что барин за вами приедет и расплатится за квартиру и за все; я вошла сюда, а вы почиваете.

- Dieu! je suis trahie! - вскричала Саломея, всплеснув руками и как будто желая скрыть от еврейки свою несчастную участь.

- Чего ж вы так испугались, сударыня? - спросила Ганза.

Саломея закрыла лицо руками и ничего не отвечала. Ганза села против нее на стул и, смотря на безмолвное отчаяние Саломеи, казалось, поняла, в чем дело.

- Мне очень жаль вас, сударыня, - сказала она ей.

Саломея не отвечала.

- Вот, кажется, кто-то идет сюда, не барин ли?

Саломея бросила взгляд на двери; но это был не Дмитрицкий, а Черномский.

- Извините, - сказал он, - что я решился посетить вас опять: я хотел вас предупредить, вы мне не верили. Теперь все ясно. Кажется, Дмитрицкий не воротится, чтоб испытать ваше презрение к себе... Он скрылся. Осмеливаюсь повторить вам свое предложение, чтоб вы предоставили успокоение вашей участи мне, как человеку, который умеет ценить вашу красоту.

- Оставьте, сударь, меня! - вскричала Саломея, - я вам повторяю то же, что давеча!

- Переносу вторично незаслуженный гнев ваш, - сказал, зло улыбаясь, Черномский. - И думаю, что, когда успокоятся ваши чувства, вы обдумаете, что вы брошены без покровительства.

Он дал знак Ганзе, которая вышла вслед за ним в другую комнату.

- Послушай, милая, постарайся уговорить ее, чтоб она не отказывалась от моего предложения, слышишь? Ты получишь от меня хороший подарок: мне она нравится. Все, что издержишь на нее, я плачу вдвое. Она, верно, согласится, но не вдруг. Вот, покуда червонный...

- О-го, великие гроши! А кто ж заплатит мне за постой их почти за неделю, за кушанье, за чай и мало, ли что брали они?

- А много ли нужно заплатить?

- Червонных десять, а ма быть и больше.

- О! Ну, за тэго вахлака Дмитрицкого юж я не буду платить.

- Ну, як зволите, пане. А юж я эту панью-француженку не выпущу с хаты, покуда не выплатит кто, али сама не заработает...

- А она француженка? а! Ну, я половину заплачу, только уговори ее скорей.

- Нет, не половину, а десять червонных.

- Ну, ну, ну, перестань!

Черномский ушел, а хозяйка вошла опять к Саломее.

- Жалко мне вас, сударыня, - начала она. - Да не плакайте, вы такие хороший, уж я знаю, что будете и счастливый... А вы уж знакомы с паном Черномским? Он такой богатой, щедрый...

- Не говори мне об нем! - сказала Саломея повелительно.

- Пан, который вас привез, сударыня, уехал, а не заплатил мне по счету; а пан Черномский свои деньги хочет заплатить, и вам что угодно будет потребовать, все заплатит.

- Боже, какое несчастье, какой срам! - вскричала Саломея по-французски. - Я тебе повтoряю: не смей мне говорить об этом мерзавце! Вот в заплату тебе...

И Саломея хотела сдернуть с руки богатый брильянтовый перстень. Но перстня нет! Она вспомнила, что Дмитрицкий, примеривая его, оставил у себя.

- Что, сударыня, и перстень украли у вас?

В Саломее стеснилось дыхание от ужаса положения.

- Прошлого года так же один военный привез сюда и бросил панну: молоденькая, да не так хороша собой... Я продержала ее с месяц у себя.

Саломея была в каком-то онемении чувств; глаза ее были устремлены на Ганзу, но она ее не видела. Долго Ганза рассказывала про разные случаи соблазна, но она ничего не слыхала.

Кто-то дорожный подъехал к трактиру. Ганза побежала узнать и оставила Саломею одну, в полном самозабвении. Но в эту страшную минуту как будто ожило в ней сердце, слезы брызнули из глаз, а душа с прискорбием и участием спросила: «Что ж ты будешь делать теперь? Жизнь перед тобой обнажилась, тебе нечем уже обмануть самое себя. Теперь ты знаешь, что ты такое, и нечем уже гордиться и тщеславиться тебе перед другими!»

Приезжий, которого Ганза побежала встречать, был наш знакомец Филипп Савич, ласковый с чужими, бирюк в семье.

- А, хозяйошка, здравствуй, душа моя! - сказал он, вылезая из коляски при помощи двух лакеев. - Я уж так к тебе... знаю, что для меня всегда место есть.

- Есть, сударь, есть, пожалуйста!

Ганза повела Филиппа Савича прямо в тот номер, откуда только что выбрался постоялец, забрав все нужное и оставив только хлам, в числе которого была и Саломея.

- Пожалуйста, - повторяла Ганза, - это самый лучший номер, только что очистился.

- Э, тут какая-то дама, - сказал Филипп Савич, заглянув в другую комнату.

- Это, сударь, иностранка; я отведу ей другой покой. Извините, сударыня, я вас попрошу перейти, потому что эти комнаты займет вот этот господин.

- Это что такое? Куда я пойду? - спросила Саломея, вспыхнув и горделиво возвысив голову.

- Что ты, что ты, как это можно беспокоить их для меня? - сказал Филипп Савич. - Извините, сударыня, что вас побеспокоила она. Я никак на это не соглашусь. Сделайте одолжение, не беспокойтесь. Отведи мне другие комнаты.

И Филипп Савич, поклонившись Саломее, вышел.

- Какая прекрасная особа! А ты вздумала ее беспокоить! Кто она такая?

- Францужанка, кажется...

- Неужели? Ах, братец ты мой! Да не мадама ли? Не пойдет ли она ко мне жить? Мне ужасно как нужна мадам.

- Ее завез сюда какой-то господин, да и бросил.

- Неужели? Ах, какой каналья, бросить такую прекрасную женщину! Что ж это, муж ее был или...

- А почему я знаю, какой муж.

- Ну, да мне что ж до этого за дело! Кто не грешен? Лишь бы по-французски хорошо говорила с детьми. Я бы с удовольствием взял ее. Я бы дорого дал, чтоб иметь такую мадам. Поди-ко, поди, спроси ее, предложи ей; скажи, что она у меня на всем на готовом, как водится: экипаж, хорошее жалованье...

- Я скажу ей, только заплатите ли вы всё, что она зажила здесь?

- Уж разумеется; ах, братец ты мой, она мне очень понравилась.

Ганза отправилась к Саломее.

- Вот, сударыня, - сказала она, - какие вы счастливые: этот господин предлагает вам наняться к нему в мадамы, учить детей по-французскому.

Саломея вздрогнула от негодования.

- Жалованье - какое угодно. Все предлагает вам... вы ему очень понравились. Уж это такое счастье вам! Он заплатит и мне за вас.

- И мне это говорит жидовка! - произнесла горделиво Саломея. - Oh, Dieu, Dieu!

- Что ж такое что жидовка, сударыня, я честная жидовка! Я жидовка, а вы францужанка! Угодно вам - для вас же я стараюсь, а не угодно - как угодно! Вы такие гордые. Не знаю - чем вы заработаете, чтобы заплатить мне, а этих комнат я за вами оставить не могу.

- Уйду, уйду! - вскричала Саломея.

- Кто ж вас пустит уходить, - сказала Ганза, - заплатите, а потом и ступайте куда хотите; а не заплатите, так я пошлю в полицию... Бог еще вас знает, кто вы такие.

- Где этот господин? Позови его сюда! - проговорила иступленно Саломея.

- Вы понапрасну сердитесь на меня, сударыня. Я для вас же стараюсь, сердиться не приходится, - сказала Ганза, выходя от Саломеи.

- О, Боже мой, что мне делать! - с отчаянием проговорила Саломея, бросаясь на диван.

Слезы снова брызнули из глаз ее. Но едва послышались шаги Филиппа Савича, наружность ее приняла обычную величавость.

Филипп Савич вошел; желчное лицо оживилось и украсилось улыбкой удовольствия.

- Я вам имел честь сделать предложение, мадам, - начал он.

- Милостивый государь, я вам не могу рассказать своего несчастья; но я вас прошу помочь мне - избавить меня от унижения, заплатить этим жидам все, что они требуют, и дать мне угол, покуда мои родные мне вышлют деньги.

- Сделайте одолжение, зачем же вам беспокоиться о деньгах. Я вам предлагаю свой дом, экипаж, жалованье какое угодно...

Самолюбие Саломеи затронулось снова; но она воздержалась.

- У меня, изволите ли видеть, сын лет пятнадцати, да дочь лет десяти. Так с ними по-французски только говорить, для упражнения - больше ничего. Жена у меня очень добрая женщина, но больная. Я бы уж вам весь дом в распоряжение отдал, как... как хозяйке, если только угодно бы было вам... А если в тягость, так это будет от вас зависеть. Деньги ли, или экипаж понадобится, для туалета, может быть, что-нибудь... - всё к вашим услугам.

Саломея слушала все эти предложения задумавшись.

- Я согласна! - сказала она вдруг решительно.

- Очень, очень рад! И счастлив, что это так прекрасно устроилось! - сказал Филипп Савич, подходя к Саломее и целуя ее руку. - Позвольте же узнать ваше имя и отчество.

- Мое имя... Саломея.

- Саломея, какое прекрасное имя. Вы из каких мест Франции?

- Я... из Парижа.

- Так сегодня позвольте мне распорядиться насчет некоторых дел, а завтра мы поедем. Покорнейше прошу - приказывать здесь все, что вам угодно...

- Мне нужно здесь пробыть по крайней мере еще несколько дней.

- Как вам угодно, - сказал, поцеловав еще ручку Саломеи, Филипп Савич и вышел. А Саломея припала на диван и предалась своему отчаянию, которое прерывалось частым приходом хозяйки с предложениями - не угодно ли ей чего-нибудь...

На третий день Филипп Савич с своей стороны спросил ее, не угодно ли ей ехать? Но она отвечала:

- Ах, нет, я еще чувствую себя не так здоровою.

Саломея еще надеялась, что ее Николай воротится, упадет на колени, в объятия, с раскаянием в своем поступке. Ей казалось, что только одна совесть показаться ей на глаза удалила его, но любовь воротит. «О, я готова жить с ним в хижине и питаться трудами рук!» - думала она. Целую неделю не решалась она ехать; наконец презрение заступило место иссякшей надежды, и Филипп Савич сам, своими руками, посадил ее в коляску.

Филипп Савич в продолжение дороги без сомнения желал научиться по-французски. Он все расспрашивал, как по-французски – «что прикажете», «как вам угодно», «мое почтение» и тому подобное.

Ожесточенные чувства Саломеи против любви рады были какой-нибудь жертве.

«Хм! Тебя, старый дурак, надо свести с ума! - думала она, злобно улыбаясь на надежды Филиппа Савича. - Влюбленный старик! Это, должно быть, очень забавно! Это меня по крайней мере рассеет... О, я вас научу, подлых мужчин, понимать женщину с сердцем!»

- Чудный французский язык, Саломея Петровна! Какая приятность! Особенно, как вы говорите! У нас жила старая француженка... да мне не верится теперь, француженка ли она: совсем другое произношение! Или она из простого французского народа, из какого-нибудь французского захолустья. Теперь я вижу, какая разница и в обращении и во всем. Клянусь вам, что впервые вижу в вас настоящую француженку. Что наши, русские женщины!..

Саломея невольно забыла и свое горе и свою привычную важность и засмеялась на похвалу француженкам.

- Каким образом сказать, например, по-французски «как вы милы»?

- Je suis un vieux fou.

- Жу сви зын ее фу, как это прекрасно! А - «я вас люблю»?

- Je suis une.....

- Жу сви зын бетакор, мадам, так?

- Совершенно так!

- Вот, видите ли, и я выучился по-французски.

- Ну, Любовь Яковлевна, - сказал Филипп Савич, приехав домой, - я нанял такую французенку для детей, что на удивление! Это уж не какая-нибудь прачка мадам Воже, это, братец ты мой, только по счастливому случаю...

Простодушная Любовь Яковлевна испугалась, взглянув на вошедшую мадам французенку. Светская важность и какая-то великолепная наружность Саломеи смутили ее. Она почувствовала себя такой ничтожной перед нею, что не знала, как встретить ее и что начать говорить.

- Извините меня, - сказала она, приподнявшись, - я не знаю по-французски.

- Я знаю по-русски, - отвечала Саломея, сев подле дивана на стул.

Все в доме также смотрели на нее, как на приехавшую с визитом, как говорится, принцессу ингерманландскую. Только Филипп Савич не боялся ее важности, потому что он никого не боялся, кто хоть сколько-нибудь подпадал под его зависимость. Он боялся только тех, от которых сам мог в чем-нибудь зависеть. Не испугался ее и Георгий, на которого она бросила пленительный взор с чарующей улыбкой, когда отец представил ей сына.

Покуда Филипп Савич сам заботился насчет убранства комнаты, предназначенной для мадамы, Любовь Яковлевна решила сделать ей несколько вопросов. И рада была, когда она, наконец, пошла в свою комнату.

- Помилуй, Филипп Савич, откуда ты взял такую бонтонную французенку? Такая важная особа, что это ужас!

- А! Такую-то я и хотел иметь мадам для дочери! - сказал Филипп Савич. - Это не из простых, а из настоящих французенок, с которых берут тон все наши княгини и графини.

Любовь Яковлевна не умела противоречить и замолчала.

Без сомнения, не всем известно, что значит «чертова гостья». Подробности значения этого слова надо спросить в передних, в девичьих и вообще, в людских. Это вообще гостья, от которой бросает всех то в пот, то в озноб. Не прошло недели, Саломея прослыла у всей прислуги Филиппа Савича и Любви Яковлевны чертовой гостьей. Филипп Савич строго наблюдал, чтоб все оказывали новой мадаме особенное уважение. Если Саломея Петровна скажет: «Человек, подавай мне воды», все наличные должны были бежать за водой, а все прочие знать, что мадам просит воды: иначе беда! До нее зачастую люди ходили без церемоний, по-домашнему, замарашками, и подавали всё голыми руками. Саломея Петровна только проговорила, что не может видеть человека, который похож на чумичку, не может смотреть без отвращения на лакейские руки, Филипп Савич, что называется, оборвал всю людскую за малейшую нечистоту и неопрятность и приказал всем обвертывать свои скверные руки в салфетки. До Саломеи Петровны идет себе людской говор по целому дому, с раннего утра до поздней ночи. Саломея Петровна спросила раза два-три: где это такой шум? И настала в доме тишина. Никто не смеет говорить между собою вслух, а не то Филипп Савич зажмет рот. Саломея почивала до полудня, иногда отдыхала и после обеда: во всем доме знают, что мадам почивает. По коридору, мимо ее комнаты, никто и на цыпочках не ходит, из девичьей в переднюю и обратно бегают через двор.

Если за столом какое-нибудь блюдо Саломея Петровна попробовала, но не стала кушать, - повара самого жарили. Если прачка худо выпарила белье, девка худо вытужила, и Саломея Петровна, развернув чистый платок, посмотрит и поморщится - прачке быть пареной, а девке утюженной. Если Саломея Петровна, подойдя к зеркалу, скажет: «ах, как я сегодня скверно причесана!» - приставленной к ней горничной не пройдет без прически.

Любви Яковлевны как будто не существует в доме. На ее попечении осталась только выдача прачке черного белья да прием чистого. Во все время замужества она сама заказывала стол по своему вкусу, и Филипп Савич не причудничал - все было и ему по вкусу. Но вдруг - то не по вкусу, того недостает... Всякой день выговор Любви Яковлевне, и при первой ее болезни повар поступил в распоряжение Саломеи Петровны.

На стороне начали покачивать головами, а дворня и деревня поняли, что наибольшая в доме - Саломея Петровна, и к ней следует ходить с поклонами, у нее обо всем спрашивать.

Для Любви Яковлевны только и осталось отрады, что Юлия Павловна: шепчутся, шепчутся, наплачутся вдвоем, да и разойдутся. У Юлии Павловны, кроме горя друга, и свое есть горе. Георгий не только что не обращает на нее внимания, но даже забывает иногда и кланяться - так пристально занялся он французским языком, науками и искусствами...

Саломея Петровна его учит и рисованию, и музыке, географии и истории. Саломея сама все плохо знала - ее учили наукам и искусствам по методу отучения от наук и искусств, посредством учителей, не умеющих учить. Учение ее также было не что иное, как сидение за книгой, как будто для того, чтоб ребенок занимался делом, не шалил. Танцы - это дело другое, это неизбежное познание. Немножко музыки также: нельзя в большом свете не уметь стучать по фортепьяно. А французский язык - о! без него человек, а особенно русский, совершенно бессловесное существо. Французская мода, французский тон, дух и духи, жеманство, французские слабости и пороки - словом, все французские добродетели необходимы. Уменье о том говорить, чего не знаешь, схватывать вершки - все это надо изучить, перенять, подделаться. Саломее никто не сказал: «Ты, душа моя, человек русской, - для чего же тебе французить? Нас с тобой перерядили, да не переродили, что ж толку? Не смешно ли целый век играть чужую роль, быть бездушной копией живых оригиналов? Подумай, - о чем ты думаешь с утра до вечера? О том, чтоб оживить в себе журнальную моду. Что делаешь целый вечер? Тайно сравниваешь себя с другими. Когда ж тебе подумать о себе самой, о внутреннем своем мире, о душе, которая сидит в тебе без дела, голенькая, без одежды, без прикрасы, молчит, не смеет вымолвить ни словечка по-своему..?»

Георгий очень понравился Саломее Петровне. «Я образу его ум и душу, я сделаю из него образец мужчин!» - думала она, смотря на него во время занятий. Эта мысль, как сладкое чувство, быстро овладела ею; никакое рассеяние не помогло бы так скоро изгнать из памяти Дмитрицкого и отвлечь от всех воспоминаний.

Она начала его учить на фортепьяно. Георгий страстно любил музыку. Фортепьяно из залы было перенесено в комнату Саломеи Петровны. Во все время уроков - так же как и во время сна - никто не смел не только войти в двери, но и пройти по коридору. Георгий и Розалия учились по очереди. Успехи Георгия были необычайны. Но вместе с этим для чувств его настала новая жизнь. Наставница была для него опасна: когда голубые, томные глаза ученика встречались с ее черным, пасмурным взором, он краснел.

За прилежание она целовала его в голову. Но какую разницу чувствовал Георгий между лаской старой Воже и лаской женщины, пылающей жизнью и еще не испытавшей любви тихой, скромной, возгорающейся от взоров и постепенно раздуваемой задумчивым воображением! Но у Саломеи не чисто было уже воображение - она скоро почувствовала жажду приковать Георгия к себе. И не будь Георгия, гордость ее не перенесла бы ни значительных взоров Филиппа Савича, ни многозначительных его намеков.

Вероятно, в подтверждение пословицы: «Седина в бороду, бес в ребро», Филипп Савич стал сходить с ума от Саломеи Петровны и всеми возможными неудовольствиями выживать бедную Любовь Яковлевну - если не с белого света, так из дому. О тяжбе он и думать забыл.

- Саломея Петровна, - сказал он однажды, - вы лучше родной матери для детей моих. С тех пор как вы здесь, весь дом у меня стал на ногу. Вы - полная хозяйка в нем. Для вас у меня нет ничего заветного - распоряжайтесь по вашей воле и мной, и всем, что мне принадлежит...

- Вы слишком много даете мне прав, Филипп Савич. У вас есть супруга, - сказала Саломея голосом простоты и великодушия.

Эти слова, сказанные с намерением только что-нибудь сказать для воздержания порыва Филиппа Савича, имели плохие последствия для Любови Яковлевны. Филипп Савич понял их по-своему. Ему казалось, что Саломея отвечала: «Я бы приняла ваше предложение, если б у вас не было супруги».

(Продолжение следует)

Александр Фомич Вельтман.



Сначала она долго плакала, а потом стала злая.
(Михаил Булгаков)

Тропами потаёнными

Тропами потаёнными, глухими,
В лесные чащи сумерки идут.
Засыпанные листьями сухими,
Леса молчат - осенней ночи ждут.

Вот крикнул сын в пустынном буераке...
Вот тёмный лист свалился, чуть шурша...
Ночь близится: уж реет в полумраке
Её немая, скорбная душа.

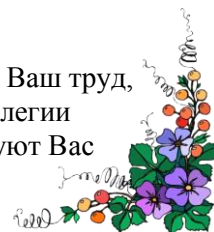
И.А. Бунин.



Письма читателей

4-3-2015 Здравствуйте Тамара! ...Большое спасибо за 61 номер Жемчужины - был рад на страницах прочитать прекрасные отзывы - среди них увидел и свой, спасибо. И свою скромную работу обнаружил – спасибо; моей школьной учительнице она понравилась. Вчера просматривал Ваши работы на ру. - позвольте заметить: Хайку - одно я в своё время бегло просмотрел, а вот вчера при неторопливом прочтении - выделил это Хайку из всех - «Альбом на траве/ Рядом - шляпа и розы/ Счастье так близко». За такой близостью и простотой видится многоплановость работы: если убрать или заменить хоть одно слово - всё рухнет и потеряет смысл, и эта хрупкость придаёт работе очарование и авторское настроение. Рассказ «Под небом Франции» прочитал, - прекрасный рассказ, как и многие Ваши рассказы. Возможно при наличии времени решите выпустить книгу, будет хороший подарок читателям. Поздравляю Вас с получением грамоты от Литературного объединения, а это - признание профессионалов, и признание заслуженное. Желаю всего доброго и хорошего. С уважением. **Е. Кульба**. Россия.

28-4-2015 Здравствуйте, уважаемая Тамара Николаевна! Большое Вам спасибо за Ваш труд, за интересные и многогранные публикации! ...От всей души желаю Вам, редколлегии и авторам журнала всего самого доброго, творческих успехов и удач! Пусть радуют Вас талантливые авторы и согревают благодарные читательские глаза! С наилучшими пожеланиями,
Светлана Кабанова. Duesseldorf Germany.



11-5-2015 Добрый день! Уважаемая Тамара Малеевская, благодарю вас за публикацию рассказа. С уважением автор, **Йосси Верди**, Израиль.

12-5-2015 Дорогая моя Томочка! Спасибо тебе за присланный журнал! Я всегда с большой радостью его читаю! Целую и обнимаю, твоя
Н. Гребенюкова. Россия.

11-5-2015 Здравствуйте, уважаемая Тамара! ...Честно признаться, я подозревал, что Вы - "из бывших"... Это видно по содержанию журнала, по подбору материала, по любви к русской классике и ко всему дореволюционному, по оформлению - по всему этому вместе, и, в то же время, по чему-то такому неуловимому, неосязаемому, к чему нельзя прикоснуться и пощупать руками. Это как тонкий, врождённый вкус - или он есть, или его нет...

...Позвольте высказать Вам мою безграничную признательность за то, что Вы любезно прислали мне 62-ой номер журнала "Жемчужина" и за публикацию в нём моих стихов и отрывка из письма!... Великий труд - работать, трудиться над собиранием, рождением каждого нового номера такого духовного, изящного, душевно-чуткого, в лучших традициях великой русской литературы журнала, коим, несомненно, является Ваш журнал. "Жемчужина" - истинное, верное имя ему. Низкий поклон Вам, Тамара Николаевна, за Ваш кропотливый труд! И сил Вам для продолжения Вашего, столь нужного людским душам дела... Храни Вас Господь!

С искренним уважением и благодарностью, **Э. Ковшевский**. Россия.

14-7-2015 Уважаемая Тамара! Вы выбрали в этой статье отличные стихи. Кстати, узнал только что: в Вашей "Жемчужине" опубликован мой текст "Бунин о Есенине". У Вас нет возможности прислать экземпляр журнала?

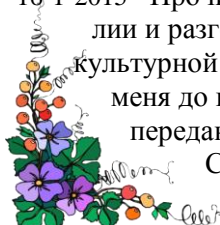
С уважением, **Юрий Евстифеев**. Проза.ру.



21-7-2015 Уважаемая, Тамара! Случайно налетел на Вашу статью и с интересом прочитал. Здорово, что так далеко от России выпускается такой интересный журнал и здорово, что Вы это осуществили! Успехов Вам и всего наилучшего! Заходите в гости, буду очень рад.

Владимир Бородин. Проза.ру.

16-1-2015 Прочитала ваш материал, уважаемая Тамара, со слезами на глазах. Я была в Австралии и разговаривала со стюардессой, родители которой жили в Китае, а потом во время культурной революции уехали в Австралию. Она выросла в Брисбене. Её рассказы тронули меня до глубины души. И потому меня очень тронули стихи И.М. Смолянинова, в них передана горечь утраты родины. Как замечательно, что вы издаёте русский журнал!.. С глубоким уважением, восхищением перед "трудовым подвигом" по изданию русского журнала "Жемчужина" - писатель, поэт **Эльмара Фаустова**. Проза.ру.





Мария Всеволодовна Крестовская

(1862 - 1910 г)

Ранние грозы



Продолжение



(начало в № 60)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

VI ...С некоторых пор их отношения немного изменились и, что хуже всего, продолжали изменяться с каждым днем. Сначала это было незаметно, и в чем, собственно, заключалась перемена, было едва уловимо. Но чем дальше, тем яснее обозначалось это, и не столько в серьезной стороне их привязанности, сколько в бесчисленных мелочах, в которых такие перемены чувствуются всего яснее. Между матерью и дочерью пробежала черная кошка, оцарапала их, и маленькая царапинка не только не заживала, но делалась с каждым днем все глубже и больнее... Обе они хорошо помнили тот день, когда "это" началось.

Случилось это в конце апреля. Наташа, начавшая уже держать экзамены и только что благополучно сдавшая один из них, вернулась домой из гимназии и, вся еще радостно-взволнованная и раскрасневшаяся, вбежала в комнату матери.

Марьи Сергеевны в спальне не было, и Наташа вприпрыжку, размахивая на бегу книгами и тетрадами, пробежала в гостиную.

- Двенадцать, мама, опять двенадцать! Уже третье двенадцать в эти экзамены! - кричала она с восторгом.

- Тише, Наташа!

Наташа остановилась и встретила взгляд чьих-то светло-голубых глаз, окаймленных слегка покрасневшими и немного припухшими веками.

Как раз напротив нее сидел какой-то высокий, белокурый, очень красивый господин, взиравший на нее с легким недоумением. Наташе не было видно Марьи Сергеевны; она сидела на низкой оттоманке, полускрытая трельяжем и растениями.

- Моя дочь! - слегка улыбаясь, проговорила та.

Наташа, вся вдруг покрасневшая, присела совсем по-детски. Она вдруг почувствовала себя такую неуклюжею и неловкою, и это сконфузило и рассердило ее. Ей было ужасно досадно, что она так влетела в комнату при постороннем, "совсем как девчонка".

Изящный господин слегка привстал и низко поклонился, протягивая ей руку.

- Совсем уже большая барышня, - произнес он не то любезно, не то иронически.

Но Наташа в эту минуту сознавала себя более чем когда-либо совсем маленькою, и искоса, сердито и быстро оглядев гостя исподлобья, вложила в его красивую руку по-детски неумело свою красную и несколько крупную, как у большинства подростков, руку и сконфуженно опустила на стул подле матери, не зная, что сказать, как сидеть и что делать.

Марья Сергеевна, казалось, также чувствовала себя не совсем ловко и краснела еще больше дочери. Когда Наташа села, изящный господин продолжал свою прерванную речь мягким, приятного тембра голосом.

Наташа сидела напротив него с тем насупленным и сердитым видом, который принимала всегда, когда чувствовала себя сконфуженною. Она сама не умела объяснить себе, почему этот изящный барин так злит и раздражает ее. Говорил он очень умно и даже приятным голосом, а между тем каждое его слово, каждое движение безотчетно раздражали ее. В душе она была очень обижена на мать, которая приняла так равнодушно и холодно ее радостную весть о новых двенадцати и сидела теперь совершенно безучастная к ее экзаменам, но очень, по-видимому, внимательная к рассказу гостя.

Гость, наконец, закончил свой рассказ и на мгновение разговор оборвался. Переждав несколько мгновений и видя, что дамы молчат, он обратился к Наташе как к новой, еще не исчерпанной теме.

- Барышня, кажется, выдержала блестящим образом экзамен? - обратился он к ней.

Наташа опять вспыхнула, но ничего не ответила. За нее отвечала Марья Сергеевна:

- Она у меня отлично учится.

- Гм! Это очень хорошо! А вы теперь в который же класс переходите?

- В третий... - неохотно отвечала Наташа.

Она вовсе не желала говорить с антипатичным ей господином, и его вопросы только окончательно сердили ее. "Чего он пристал ко мне? - думала она с раздражением детского каприза. - И чего он только, Господи, торчит!" Хотя в душе она и была обижена на мать, но ей все-таки хотелось как можно скорее остаться с ней вдвоем. А гость, по-видимому, совсем не желал понимать ее. Он сидел в очень спокойной позе и говорил тем медленным тоном, каким говорят люди, которым некуда торопиться.

- В третий! Это значит, по-нашему, в пятый? У вас ведь, кажется, первый считается старшим? Значит, вам остается еще три года только!

Наташа молчала, а он задумчиво переводил свои водянисто-голубые глаза с дочери на мать, точно мысленно сравнивая их.

- Совсем большая барышня! - прибавил он, ни к кому специально не обращаясь, и вдруг, переведя глаза прямо на Марью Сергеевну, воскликнул с каким-то точно удивлением: - А я почему-то воображал, что у вас нет детей!

- Да? - Вспыхнула слегка Марья Сергеевна и чему-то сконфуженно засмеялась.

Гость продолжал несколько мгновений глядеть на нее загадочно улыбающимися глазами.

"Как он глядит! Как он глядит! Как он смеет так глядеть!" - Наташе даже захотелось наговорить ему дерзостей, и любезное выражение материнского лица ужасно сердило ее.

- Ну, теперь недолго уже и до конца осталось! - обратился он опять специально к Наташе. - Каникулы - это радость всех гимназистов, гимназисток, институток, словом, всего нашего маленького учащегося люда. Я прекрасно помню, в какой неистовый восторг приходил я сам в тот день, когда нас распускали, и потому буду от всей души сочувствовать вашей радости в тот день, когда вы забросите ваши книги и тетради на полки на целых три месяца и приметесь снова за ваши игрушки и кукол. Я нахожу, что мы слишком замучиваем наших детей ученьем зимой, а потому, чем больше они бегают, играют и возятся летом, тем лучше это и полезнее для них во всех отношениях.

Он, по-видимому, еще долго бы говорил о Наташе. Но Наташа, с ярко заблестевшими от негодования глазами, вдруг резко оборвала его:

- Я вовсе не собираюсь играть в куклы и бегать в пятнашки, мне уже пятнадцатый год!

В ее голосе послышались и слезы, и злость, и обида, и негодование; она вся раскраснелась, и даже в глазах ее сверкнули слезы.

- Наташа! - остановила ее Марья Сергеевна полустрогим, полуиспуганным взглядом. - Во-первых, тебе нет еще и четырнадцати, а во-вторых, я попросила бы тебя не волноваться и не горячиться так.

- Конечно, мама; меня только что называли большой барышней, а теперь предлагают играть в куклы.

- Но, милая барышня, ради Бога, простите меня. Я совсем не хотел этим обижать вас, я говорил больше лично про себя - про свои воспоминания детства. Не беспокойтесь, Марья Сергеевна, это просто маленькое недоразумение между мной и вашей милою барышней. Я сам виноват. У барышни очень впечатлительная и нервная натура, но мы с ней все-таки будем друзьями. Не правда ли? Она протянет мне свою ручку, а я обещаюсь больше не поддразнивать ее, и мы совсем помиримся... Я всегда со всеми детьми в дружбе! Не так ли, милая барышня? Ну, дайте же ручку.

- Наташа, дай же руку! - Марья Сергеевна бросила на дочь недовольный и строгий взгляд.

Наташа, презрительно блеснув глазами, гордо подняла головку и безучастно вложила свою похолодевшую от волнения ручку в протянутую ей красивую белую руку с выточенными розовыми, как у женщины, ногтями.

- Простите ее, Виктор Алексеевич, она у меня совсем еще дичок, - с недовольным и сердитым видом заговорила Марья Сергеевна.

Ручка Наташи слегка дрогнула в руке Вабельского.

Виктор Алексеевич с упреком взглянул на Марью Сергеевну и только покачал своею красивой головой.

- Ну, вот опять! Ай-ай-ай, барыня, мы только что начали мириться, а вы опять хотите нас поссорить! Совсем не барышня просит у меня прощения, а я у нее...

Наташа молчала и, высвободив, наконец, свою руку, начала теревить складки своего гимназического передника. Ей хотелось уйти, и в то же время она ни за что не хотела уходить и молча продолжала сидеть, бросая исподлобья угрюмые взгляды по сторонам.

Виктор Алексеевич, поняв, наконец, что маленькая хозяйка не желает говорить с ним, спокойно оставил ее и перешел к другой теме.

Теперь Наташа уже не желала его ухода для того, чтобы остаться наедине с матерью. Она видела, что мать изредка оглядывает ее строгими глазами и, чувствуя, что та на нее сердится, обижалась чуть не до слез, и свою обиду с матери переносила на "отвратительного" Вабельского как на виновника ссоры между нею и Марьей Сергеевной.

Наконец пробило пять часов. Вабельский поднялся и начал раскланиваться. Прощаясь с Марьей Сергеевной, он надолго задержал ее руку в своей, продолжая говорить о каких-то пустяках, как будто совершенно забывая, что он удерживает ее руку, а она не отнимала ее и глядела на него искрившимися глазами.

- Ну-с, барышня, ведь мы не в ссоре? Не правда ли? - обратился он к Наташе. - Или мы должны привыкнуть, прежде чем подружиться? Если так, то это еще лучше, дружба будет прочнее.

Наташа тоскливо стояла посреди комнаты. "Лучше уйти к себе, - думала она, - Господи, ну отчего он такой противный! Только бы не вздумал еще часто бывать!"

Она прошла в свою комнату и встала у окна, уныло смотря на улицу. Погода испортилась, шел дождь, перемешанный со снегом. Мостовые, дома, люди - все казалось каким-то серым, мокрым. Через минуту послышались торопливые шаги. Марья Сергеевна вошла, порывисто распахнув дверь, и заговорила с резко звенящими нотками в голосе:

- Скажи на милость, что это еще за фокусы? Ты, кажется, совершенно с ума сошла! Как ты смеешь говорить так с моими гостями? Я тебя так избаловала, что просто ни на что не похоже! Ты скоро Бог знает что будешь позволять себе. Разыгрываешь из себя большую, а ведешь себя как девчонка. Обижаешься, требуешь какого-то почтения. И потом, что это еще за объявление всем и каждому о своих годах? Слишком рано начала прибавлять себе года. Ты еще ребенок, и когда говоришь со старшими, должна это помнить. Прошу впредь никогда и ничего подобного не выкидывать!

Марья Сергеевна вышла и с силой захлопнула за собой дверь. Наташа стояла у окна вся побледневшая, с каким-то пораженным лицом. Мать еще никогда в жизни не говорила с ней таким тоном. Обыкновенно Марья Сергеевна была очень мягка с дочерью и почти никогда не повышала голоса. И вдруг!

При слове "вдруг" Наташе снова припомнились все обидные слова матери и ее искаженное гневом лицо. Кричать, как на девчонку из-за какого-то Вабельского! О! И Наташа горько зарыдала, прислонясь горячим лбом к холодным стеклам окна...

VII К обеду Наташа вышла с заплаканным лицом и пасмурно сидела все время, изредка только вскидывая на мать глаза. Если бы Марья Сергеевна, встретившись взглядом с дочерью, улыбнулась ей, Наташа была бы готова сейчас же броситься к ней на шею.

Но Марье Сергеевне хотелось выдержать характер, и сквозь пар, поднимающийся от супа, проглядывало как бы подернутое легкой дымкой ее лицо с сердито сжатыми губами, с маленькой морщинкой между бровями, придававшей ее глазам холодное и гневное выражение.

Наташа чувствовала, что мать нарочно не хочет встречаться с нею взглядом, и, чувствуя это, она оскорблялась еще более и делалась все сумрачнее.

Марья Сергеевна находила теперь, что она слишком избаловала дочь, слишком много дала ей воли, поставив ее в положение скорее друга, чем ребенка. Прощаясь с Вабельским, она еще раз извинилась перед ним за дочь.

- Да полноте же! - отвечал он ей. - Ведь это еще ребенок, правда, немножечко избалованный, так ведь это даже и не ее вина.

Марья Сергеевна чувствовала это, и отчасти ей было это даже приятно. Она сознавала, что Вабельский прав: конечно, Наташа совсем ребенок, и ребенок страшно избалованный самой же ею. Он прав, это ее собственная вина. Но как исправить то, что уже испорчено? Она сама еще хорошенько этого не знала, но решила, что надо будет принять какие-нибудь меры, наконец. Сделав дочери выговор, она пришла к себе в кабинет и начала ходить по нему взад и вперед, как всегда делала, когда была чем-нибудь сильно раздражена.

Ее ужасно взволновала вся эта, в сущности, пустая история, и, спрашивая себя: "Почему?", она отвечала самой себе: "Потому что я боюсь за Наташу".

Вспоминая выражение лица и сами ответы Наташи Вабельскому, Марья Сергеевна находила их страшно дерзкими, и ей было крайне неприятно, что ее родная дочь оскорбляет ее же гостей совершенно незаслуженно только потому, что эти гости не имеют счастья нравиться "избалованной девочке"! И тем более ей было неприятно, что Наташа "наговорила дерзостей" именно Вабельскому, который был в ее доме в первый раз. Они познакомились еще недавно, но он ей очень понравился, и с ним ей, более чем с кем бы то ни было, хотелось быть внимательной и любезной хозяйкой. Она даже старалась припомнить, не случилось ли таких историй и раньше: быть может, Наташа всегда и со всеми была дерзка и невоспитанна, и только она, в своем материнском ослеплении не замечала этого, пока простой случай не раскрыл ей, наконец, глаза?

«Да, я ее страшно испортила, и это когда-нибудь тяжело отзовется и на мне, и на ней самой - сама Наташа не поблагодарит меня за это впоследствии». Но как исправить это? Несомненно, что исправить ее еще не поздно, но как начать? Как приняться? Марья Сергеевна сознавалась себе, что она плохая воспитательница, по крайней мере, была; теперь же употребит все силы, чтобы сделаться лучшею. Девочка все время между большими - это старит детей раньше времени. Ей нужны подруги и дети ее возраста, нужны игры, шалости. Наконец, это необходимо и для здоровья... Девочка вечно в комнате, в книгах, ей совсем не следует торчать в гостиной, когда там посторонние. Марья Сергеевна именно так и подумала: "торчать" - это даже стесняет, нельзя ни о чем говорить...

Марья Сергеевна долго еще думала и решила: во-первых, отдалить, насколько возможно, Наташу от взрослых и окружить ее подругами ее возраста; во-вторых, быть гораздо строже и придерживаться с нею известной, раз и навсегда установленной методы, а не так, как раньше было. Только в строгости своей Марья Сергеевна не была уверена и побаивалась, что не выдержит долго характера, но, во всяком случае, решила крепиться сколько возможно дольше, и начать с этого же дня.

Следствием этого было то, что Марья Сергеевна весь вечер не говорила с Наташей, глядела на нее холодно и, целуя дочь после обеда, едва прикоснулась к ее лбу губами. Она хотела, чтобы Наташа лучше поняла и свою вину, и то, что она, Марья Сергеевна, очень ею недовольна.

Несколько раз в течение вечера ей делалось жаль дочь, и, казалось, что она уже достаточно наказала ее. Ей даже хотелось позвать ее, поговорить с ней "ласково, но серьезно", и совсем уже примириться после этого. Раз она даже встала и подошла к двери Наташиной комнаты. Но каждый раз они припоминала свое решение и "выдерживала характер".

Где-то глубоко в ее душе шевелилось безотчетное сознание, что она не совсем права, поступая так. Раз даже явилась мысль, что она рассердилась на Наташу только потому, что та задела именно Вабельского... Но эта мысль явилась лишь на мгновение и как-то смутно, и Марья Сергеевна, точно испугавшись, сейчас же отогнала ее и стала уверять себя, что ее долг вести себя именно так, а не иначе, ради самой же Наташи, которая после сама же будет благодарить ее за это. Когда будет это "после", она представляла себе не совсем ясно, но утешала себя мыслью, что когда-нибудь да будет...

Что касается Наташи, то она была положительно поражена. Еще никогда в жизни она не помнила Марью Сергеевну такою. При ее страстном обожании матери маленькая царापинка в их отношениях уже казалась ей большою раной. Сознание, что "они поссорились", что "она" сердится на нее, страшно мучило Наташу. Так же, как и Марья Сергеевна, она несколько раз подходила к двери с желанием броситься к матери на шею, расплакаться, поцеловать ее и помирииться. И если Марья Сергеевна не делала этого из желания "выдержать характер", то Наташа, - потому что каждый раз вспоминала "противную" физиономию Вабельского, из-за которого ее мать кричала на нее и грозила ей, как шестилетней девочке. Из-за Вабельского, которого она едва знает!

И она опять угрюмо садилась за книги, стараясь углубиться в свои уроки, и в то же время чутко прислушиваясь к тому, что делалось в материнской комнате. Но там все было тихо. Изредка раздавался легкий кашель, да слышался шелест переворачиваемых книжных листов. Раз Наташе показалось, что мать встала и подошла к двери. Наташа повернулась на стуле лицом к двери и затаила дыхание: вот-вот дверь растворится... она войдет! И она ждала так несколько секунд, не отрывая глаз от двери. Но дверь не отворилась, и слышно было, как кто-то отошел от нее. Наташа тихо вздохнула и принялась за тетради.

Часу в девятом Марья Сергеевна позвонила горничную и стала собираться куда-то на вечер. Наташа слышала, как она одевалась, говорила с горничной, отдавала какие-то приказа-

ния, и наконец, уехала, даже не зайдя к ней проститься. Павла Петровича также не было дома весь день, Наташа не стала пить чай и легла спать раньше обыкновенного. Но заснуть не могла: все случившееся страшно волновало ее и казалось таким большим горем, которое, если будет продолжаться, то убьет ее. И она все спрашивала себя, зайдет ли к ней мать ночью, по возвращении, как всегда, или нет. Наташа где-то глубоко в душе верила, что мать непременно придет к ней, и тут-то они и помиряются. Она даже представляла себе, как это будет: дверь откроется, мама войдет тихо, осторожно, как всегда, подойдет к ней, Наташа бросится к ней и... И, представляя это себе, она уже заранее чувствовала себя растроганною и умиленною до слез. До двух часов ночи она страстно ожидала возвращения матери; ни думать о чем-нибудь другом, ни спать она не могла и, беспокойно ворочаясь на постели с боку на бок, лежала с открытыми глазами, тревожно и чутко прислушиваясь к каждому шороху и все ожидая звонка...

Несколько раз ей казалось, что позвонили. Тогда она вскакивала, приподнималась на локтях и слушала несколько секунд - не идут ли отворять... Но, убеждаясь, что ошиблась, опять тоскливо опускалась на подушки. Время тянулось страшно долго, и ей казалось, что никогда еще Марья Сергеевна не возвращалась так поздно.

«А что, если она не придет?» Но от одной этой мысли сердце ее начинало болезненно биться, и слезы беспомощно катились из глаз. Тогда...? Тогда она начинала придумывать, что с ней случится что-нибудь ужасное, самое ужасное, или она смертельно заболеет, и тогда мать придет к ней и будет упрекать себя за то, что довела ее, Наташу, "до этого". Что именно будет "этим", ей представлялось довольно туманно, но, во всяком случае, что-то ужасное.

В четвертом часу раздался звонок. Наташа вздрогнула и вскочила: "Это она!" Слух ее вдруг напрягся до самой тонкой чуткости: она слышала, как в передней отворяли дверь, как там возились довольно долго, снимая, вероятно, шубу; слышала даже, как глухо упали на пол снятые с ног калоши... Потом шаги - по зале, по столовой, по маленькой гостиной... Все ближе, все явственнее, уже слышно даже, как мягко шелестят по коврам длинные бальные юбки... Наконец, вошли в будуар. Наташа села на кровати и опустила голые ноги на пол. Сердце ее страстно и тревожно билось, ей даже казалось, что ей больно от этих частых и сильных ударов...

В будуаре раздавались пониженные, тихие голоса... Феня раздевала свою барыню и что-то рассказывала монотонным, слегка заспанным голосом. Марья Сергеевна говорила совсем тихо и мало; изредка только вырывалось более громкое, отрывистое слово...

«Ну, что же, что же она не входит?» Теперь на Наташу напал страх, что мать, действительно, не войдет к ней, и с каждою проходящею минутою она уверялась в этом все больше. Все ее существо еще бессознательно ждало, и уверенность, что мать не придет, как-то странно смешалась со слепую, непоколебимую надеждою, что она придет. Но проходили минуты, дверь не отворялась. «Ах, когда Феня уйдет! - радостно придумала вдруг Наташа. - Она не хочет только при Фене, ну, конечно, конечно!» И с новою надеждою она впиалась в дверь, отделяющую ее от матери, ожидающими глазами. Прошло еще несколько минут, голоса почти не раздавались, слышны были только шаги... Это, верно, Феня наскоро прибирала вещи. «Ах, скорее бы, скорее бы она уходила...».

Теперь Наташа ждала уже только ухода горничной.

- Свечу погасить?

- Погаси...

Наташа судорожно вздрогнула: "Погасить? Как, погасить? Разве уже легла? Значит..." Сердце ее забилось еще чаще, еще болезненнее.

В соседней комнате кто-то дунул так, как дуют, когда гасят свечу. Погасла. Опять послышались шаги, все удалявшиеся и, наконец, совсем замершие где-то в глубине коридора.

Феня ушла, и с ее затихшими шагами кругом воцарилась полная тишина, та тишина, которая разливается только ночью, когда вместе с людьми точно и все остальное засыпает...

Наташа все еще сидела с опущенными на пол ногами... Она как будто еще чего-то ждала... Лампадка слабо мерцала, и бледные тени ее ползали и трепетали по стенам и по полу комнаты. Наташа глядела на них, прислушиваясь к разлившейся по всем уголкам тишине ночи... Ей было холодно, но она не чувствовала этого, хотя вся дрожала и зябко ежилась голыми плечами.

В углу, возле печки, что-то тихо зашуршало, большой черный таракан, осторожно поводя длинным усом, выполз из-за печки и медленно переползал по карнизу, выделяясь черным движущимся пятном на светлых обоях. Наташа поглядела на него. Где-то, верно, в кабинете, глухо пробили часы: раз... два... три... четыре...

Наташа слегка вздрогнула от пробежавшей по ее телу холодной дрожи и медленно приподняла голову. "Не пришла..." - тихо прошептала она, и это слово показалось ей таким ужасным, ей вдруг сделалось так больно и так мучительно жаль и самое себя, и того, что мать не пришла, и того, что все кончилось... Что кончилось, она неясно еще понимала, но что-то кончилось и оборвалось - это она чувствовала с острую, горькою болью.

VIII Разлад между матерью и дочерью если и не обострялся, то, во всяком случае, как-то странно затягивался и усложнялся. Наташа точно спряталась в себя, и Марья Сергеевна, которой надоело, да и не хотелось уже "выдерживать характер", начала следить за девочкой уже с некоторым беспокойством и недоумением. Несколько раз порывалась она перейти к прежним отношениям с дочерью, но это плохо удавалось ей. Наташа не сердилась, не имела даже надутого вида, как это часто свойственно избалованным детям, а между тем Марья Сергеевна чувствовала, что девочка уже не та, хотя для не очень наблюдательных глаз их отношения оставались почти такими же, как и прежде.

По прошествии первых же трех дней Марья Сергеевна, видя, что Наташа не подходит "просить прощения", не вытерпела и однажды сама за чайным столом обняла и поцеловала ее. Это было как бы водворением мира с ее стороны, но, целуя дочь, Марья Сергеевна почувствовала в ее ответном поцелуе что-то совершенно новое, как будто холодное и равнодушное. И с тех пор это продолжалось.

Встречаться им теперь приходилось реже: у Наташи шли экзамены; у Марьи Сергеевны кончался сезон, давались последние вечера, делались прощальные визиты и т. д. Тем не менее, встречаясь, они были внешне очень ласковы друг с другом. Только Наташа стала как-то меньше болтать, дурачиться и восхищаться матерью. Она точно выросла за несколько дней, стала задумчивее и как будто втайне о чем-то грустила. Даже ее взгляд сделался глубже, и порой, ловя его на себе, Марья Сергеевна невольно смущалась, хотя и не могла себе объяснить, почему. Часто это сердило ее. Прощаясь на ночь, они, как и прежде, крестили друг друга, но каждый раз Марья Сергеевна подмечала, что Наташа делает это теперь торопливо, немного сконфуженно и точно нехотя.

Все эти маленькие, только Марье Сергеевне заметные мелочи, смущали и удивляли ее, но она надеялась, что через некоторое время все войдет в обычную колею. Теперь ей было досадно, зачем она в ту же ночь, по возвращении с бала, не зашла к Наташе и тогда же не помирилась с нею. В душе она немножко сердилась на себя за то, что послушалась тогда Вабельского, которому как-то невольно рассказала все.

Она не чувствовала в себе способности и умения перевоспитывать дочь, и потому ей хотелось посоветоваться об этом с кем-нибудь. Но с кем - она не знала. Мужа ей почему-то не хотелось путать в это дело; она даже хотела бы скрыть от него размолвку, и была очень рада, что его весь день не было дома; родня же и знакомые слишком мало знали и ее, и Наташу, и их особенные отношения, чтобы с пользой что-нибудь посоветовать. Первая размолвка с дочерью своею новизной и с непривычки казалась ей целою историей, чуть не переворотом, заботила и даже мучила ее, поглощая все ее мысли. Она почти не могла ни думать, ни говорить о чем-нибудь другом, а потому очень обрадовалась, когда в числе гостей на вечере увидела Вабельского. Все это произошло на его глазах, он был даже косвенною причиной их ссоры, и Марье Сергеевне казалось, что с ним ей удобнее, чем с кем бы то ни было, посоветоваться об этом. «Он такой милый и умница, что-нибудь придумает...».

Вабельский первый заговорил с ней о Наташе и об утреннем визите.

Марья Сергеевна сама не заметила, как мало-помалу рассказала ему свои отношения с дочерью, чуть ли не со дня ее рождения. На нее вдруг нашел какой-то порыв откровенности.

Вабельский молча и внимательно слушал ее, слегка склонив красивую белокурую голову.

- Ваша Наташа, - заговорил он, когда она, взволнованная своею неожиданно исповедью, примолкла на мгновение, - ваша Наташа прелестная девочка, и из нее может выйти чудная женщина, одна из тех женщин, которые встречаются все реже и реже. Но... - Он запнулся с тем выражением на лице, которое невольно является, когда не хотят сразу высказать свою мысль.

Она поняла его.

- Но? - повторила она вопросительно, точно желая этим заставить его продолжать.

- Но я боюсь, что вы сами же испортите ее... Вы не сердитесь, будем говорить откровенно, по-товарищески?

Он взял ее руку и слегка пожал ее.

- Нет, нисколько не сержусь. Знаете, я и сама не раз думала то же самое. Я давно уже хотела поговорить об этом с кем-нибудь. Но с кем же? С кем-нибудь из знакомых мне отцов и матерей? Но что могут они посоветовать мне, когда они все сами точно так же, если еще не хуже, испортили своих детей? Чему они могут научить?

Вабельский засмеялся.

- Это правда, - сказал он, - большинство наших детей портится их же собственными матерями. Сколько пользы могу я принести вам своим советом - не знаю. Детей у меня нет, и потому о воспитании я могу судить только теоретически. Во всяком случае я думаю, что с детьми необходима известная выдержка и система, необходим более или менее план воспитания, так сказать, правильный режим, а не то, что сегодня - так, завтра - иначе, и всегда - как Бог на душу положит: авось, мол, сойдет как-нибудь, все равно и так вырастут...

Марья Сергеевна внимательно слушала.

- Но что же, что же делать? Как воспитывать? А вот теперь... В таких случаях - как исправлять ошибки?

- Да ваша же собственная Наташа учит вас, что делать. У нее же есть и характер, и выдержка, а у вас нет! Она не хочет идти просить у вас прощенья, и не пойдет, хотя и знает, что вы сердитесь и мучаетесь. А вы не выдержите, и сегодня же сами первая пойдете к ней мириться! Таким образом ваша Наташа не только не сознает своей вины, но даже будет чувствовать себя отчасти мученицей, даром обиженной, и уж, конечно, совершенно правую, чему доказательством ей будет служить уже сам тот факт, что в конце концов вы и сами это осознали и пришли к ней. И в будущем вы не только не гарантируете себя от подобных капризов, но еще и даете им полный простор развиваться и усиливаться. Вы мне скажете: Наташа не дитя, не ребенок. Ей уже четырнадцать на днях минет. Положим, четырнадцать вдвое больше, чем семь, но все-таки это еще не аттестат на зрелость и самостоятельность. Этот возраст даже более трудный, опасный и требующий известного ухода и выдержки, чем всякий другой, потому что с него начинается переворот и перерождение девочки в будущую женщину.

Марья Сергеевна в душе соглашалась с ним, но только чувствовала, что не сумеет приняться за дело.

- Это очень трудно, - задумчиво заговорила она, поднимая на него глаза, - и сделать это гораздо труднее, нежели понять, что именно нужно сделать. Я понимаю, но исполнить едва ли сумею.

Он, улыбаясь, глядел на нее, как бы мысленно думая о чем-то совсем ином. Он сразу взял с ней товарищеский тон, и, слушая его, говоря с ним, она чувствовала себя так легко и просто, что ей казалось, будто они уже давно знают друг друга. Она была глубоко благодарна человеку, говорившему с таким интересом о том, что было для нее дороже всего, и руководившему ею там, где она без посторонней помощи не могла найти твердой почвы под ногами.

Когда она спускалась с лестницы, Вабельский пошел проводить ее и, помогая ей одеваться, шутливым и заботливым тоном "наставлял ее". Ей было смешно, что ее учат, как маленькую, и в то же время ей это нравилось, тем более что она находила его совершенно правым.

- До свиданья! Смотрите же, не испортите моей Наташи! - шутливо проговорил он.

- Вашей?

- Ну, нашей!

Они глядели друг другу прямо в глаза и улыбались. Марья Сергеевна чувствовала себя в каком-то особенном состоянии духа: ей было как-то беспричинно весело.

Подсаживая ее в карету, Вабельский крепко пожал ее руку.

- До свиданья. Заезжайте же, - сказала Марья Сергеевна.

Вабельский ничего не ответил и только поклонился.

Карета тронулась; он остался еще на подъезде. Марья Сергеевна, еще раз выглянув из окна кареты, поклонилась ему. Слабый отсвет от фонарей осветил на мгновение ее лицо, скользнув светлою, желтоватой полосой по ее пунцовому плюшевому шарфу, из-под которого на него сверкнули темные глаза и красиво обрисованный рот.

Вабельский задумчиво глядел ей вслед. Какое-то странное выражение пробежало по его лицу. «Очень ты, барынька, хороша! Очень!» - тихо проговорил он, и, запахнувшись плотнее в шинель, быстро вскочил на свои дрожки.

Когда карета отъехала от подъезда и плавно закачалась на упругих рессорах, Марья Сергеевна откинулась в самую ее глубь и, откинув голову на мягкие подушки, прикрыла глаза. Улыбка, с которой она простилась с Вабельским, еще не сбежала с ее лица, придавая ему какое-то мечтательное выражение...

Было уже поздно; на улицах стояла тишина, лишь кое-где запоздавшие кареты быстро катились по мостовой, да редкие извозчики сонно почмокивали на таких же сонных кляч. Марья Сергеевна томно глядела из-под опущенных ресниц в окна кареты прямо против себя, машинально следя взглядом за едущими экипажами и мелькавшими перед ней фонарями. Какие-то обрывки мыслей и фраз вяло толпились в ее голове, но ей было так хорошо в мягком сумраке кареты, в теплом меху ротонды, на слегка покачивающихся подушках... Она не то дремала, не то мечтала о чем-то, убаюкиваемая тихой ездой...

Продолжение следует...

М.В. Крестовская.

**Пыль мертвых слов пристала к тебе:
омой свою душу молчанием.
(Тагор Р.)**



Некрасивая девочка

Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в трусы худая рубашонка,
Колечки рыжеватые кудрей
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.
Двум мальчуганам, сверстникам её,
Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчишки, не торопясь к обеду,
Гоняют по двору, забывши про неё,
Она ж за ними бегают по следу.
Чужая радость так же, как своя,
Томит её и вон из сердца рвётся,
И девочка ликует и смеётся,
Охваченная счастьем бытия.
Ни тени зависти, ни умысла худого
Ещё не знает это существо.
Ей всё на свете так безмерно ново,
Так живо всё, что для иных мертво!
И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!
Мне верить хочется, что сердце не игрушка,
Сломать его едва ли можно вдруг!
Мне верить хочется, что чистый этот пламень,
Который в глубине её горит,
Всю боль свою один переболит
И перетопит самый тяжкий камень!
И пусть черты её нехороши
И нечем ей прельстить воображенье,-
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом её движенье.
А если это так, то что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Николай Заболоцкий. Россия.

Жена Азиса

*«Неверную меняй на рис».
(Древнее, симферопольское)*

Уличив меня в измене,
Мой Али, - он был Азис,
Божий праведник, - в Сюрени [1]
Променял меня на рис.
Умер новый мой хозяин,
А недавно и Али,
И на гроб его с окраин
Все калеки поползли.
Шли и женщины толпами,
Побрела и я шутя,
Розу красную губами
Подведенными крутя.
Вот и роща, и пригорок,
Где зарыт он... Ах, Азис!
Ты бы должен был раз сорок
Променять меня на рис.

1903

И.А. Бунин.

[1] Сюрень –
древнее татарское название
Симферополя. (прим.автора)

Влюблённый

Краснощёко наливалось утро –
Время простодушных перемен,
А в саду, по- летнему не скушном,
Зной уже крылами шелестел.
Вился шмель тяжёлым дирижаблем
Над сиренью...
Жар давил виски,
И тюльпан,
Раскрыв бутон по- жабьи,
Сбрасывал на землю лепестки.
Пели осы – жалобно, натужно,
Истончая крыльев филигрань,
И казалось, было слишком душно
Даже небу в этакую рань.
Сад поник...
Молили о пощаде
Даже розы в зарослях теней...
У плетня, в малиновой прохладе,
Пел влюблённый в утро соловей.

Наталья Колмогорова.
Сайт «Свете Тихий».



Новицкий Евгений Валерьевич

- стихи с Украины -

Африканский

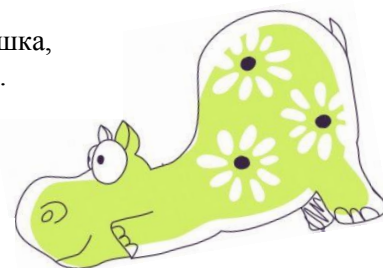
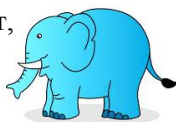
ГОСТЬ



Вот потеха так потеха,
Веселись, честной народ!
К нам из Африки приехал
Настоящий бегемот!
Днями он лежит на солнце,
Отдыхая от забот,
И водою из колодца
Поливает свой живот.
Ест бананы и кокосы,
Пьет оливковый настой
И в ответ на все расспросы
Лишь кивает головой.
А под вечер, взяв подушку,
Он уходит со двора,
И в болоте, как лягушка,
Спит до самого утра.

В стране небывалой

В далёкой стране небывалой
(На карте её не сыскать)
Чудес повидал я немало,
О них и хочу рассказать.
Там бублики, плюшки и пышки
На ветках, как груши, растут,
И добрые белки-малышки
Охотно их всем раздают.
В лесу на тенистой лужайке
Дворец шоколадный стоит,
Живут в нём весёлые зайки,
Не зная ни ссор, ни обид.
Струятся кисельные речки
По сине-зелёным горам,
И сказочные человечки
Хлебают кисель по утрам.
Там есть говорящие звери,
Я их понимал без труда...
А если мне кто-то не верит,
Пусть сам приезжает туда.



Мотылёк

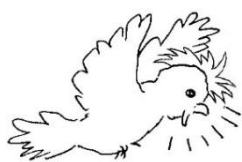
Легкокрылый мотылёк
Над лужайкою порхает –
То присядет на цветок,
То в траве густой растает.
Словно яркий огонёк,
В пёстрой зелени мелькает,
И бедняге невдомёк,
Что сейчас его поймают...



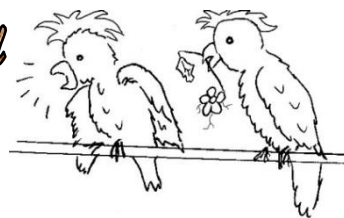
Рыжий кот мечтал о дальних странах,
Островах, морях и океанах,
Оттого и спал не на диване,
А в большом дорожном чемодане.
И ему всю зиму до весны
Снились туристические сны.



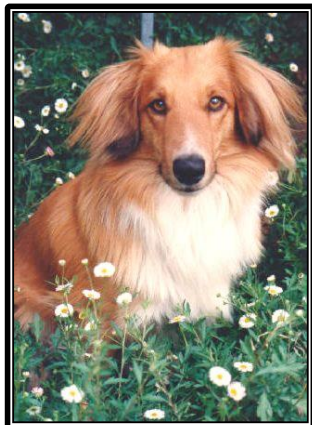
На улице стояла женщина и плакала. Мимо шёл мальчик. Ему стало жаль женщину, он подошёл к ней и спросил: - Тётя, почему ты плачешь?
Женщина только отмахнулась: - Ой, мальчик, ты не поймёшь...
Мальчик снова спросил: - Тётя, ну почему ты плачешь?
Женщина расплакалась ещё больше и сквозь слёзы сказала: - Ой, мальчик, никто меня не любит, никому я не нужна...
Мальчик посмотрел на неё и спросил: - Тётя, а ты у всех спросила?



Тузик и его друзья



ВОЛШЕБНЫЙ СОН



На Шумном Дворе поднялось солнышко, и сразу проснулись, закричали на ветках Леопарда сороки. Даже Рябушки в курятнике закудахтали. Леопард легонько тряхнул кружевными листьями, и заговорил (это было его время говорить):

- Тише, тише... вы же гномиков разбудите!

Сороки закричали ещё громче:

- Как это, «гномиков разбудим»? Да они уже во дворе! Возьмемся. Значит, что-то интересное затеяли...

При слове «интересное», во двор выскочил Тузик, за ним - Матильда Леопольдовна. Рябушки - все четыре, сколько их было - столпились возле стенки курятника. С оглушительным криком подлетел Базлан. Все с любопытством смотрели на гномиков. Тут уже и Леопард не выдержал - хоть и дерево, а тоже посмотрел вниз. А там...

Бублик и Говорилка решили разводить сад. Вчера это придумали. Они перед сном читали сказку, увидели в книжке картинку - цветы в горшочках, и фею среди цветов. Поэтому сегодня утром оба встали пораньше. И бегом во двор. Чтобы мама-Иголочка не увидела, не велела детям сначала позавтракать.

Гномики нарвали во дворе цветов. Набрали листьев, разных веточек. Достали в сарае маленькие детские лопатки и цветочные горшки. В горшки насыпали немного земли, воткнули туда листики, ветки, цветы. И стали поливать свой «садик» из маленькой лейки.

- Скоро у нас вырастет волшебный садик, - сказал Говорилка братишке, и громко зевнул (ему очень хотелось спать).

- И тогда к нам прилетит фея, - потёр кулачком сонные глаза Бублик. - Скорее бы...

Во двор вышли папа-Лобик и дедушка-Помахайкин.

- Не так быстро, малыши, - рассмеялся добрый дедушка. - Сначала веточки нужно поставить в воду, чтобы пустили корни. Иногда гномы бросают семена прямо в землю, а иногда - в крохотные горшочки, чтобы выросла рассада, и тогда они эту рассаду...

- И людей научили так делать, - добавил Папа-Лобик, - поэтому у людей красивые сады.

Но малышам не хотелось слушать, они были нетерпеливые:

- В сказках всякое бывает, - сказал Говорилка.

- И наш садик - сказочный, - добавил Бублик.

На ветках Леопарда послышался смех сорок. Гномики обиженно посмотрели на птиц:

- Вот подождите, вырастет наш садик - будете знать, как смеяться...

Несносные сороки продолжали дразнить малышей. Скоро на Шумный Двор прилетела Кукабарра (это Базлан успел сообщить ей новость), и тоже громко захохотала.

Бублик и Говорилка решили не обращать на птиц внимания. Сидят возле своего садика, и ждут - когда он вырастет. Ждут, глаза таращат, даже в глазах рябить начало. И незаметно оба заснули.

И вот, снится гномикам волшебный сон...

Видят они, что на Шумный Двор прилетела Фея - совсем такая, как на картинке в сказке, с прозрачными крылышками... На конце её волшебной палочки блестит яркая звёздочка. Фея притронулась волшебной палочкой к веткам в горшочках - и они начали расти. Потом она прикоснулась к цветам - и они со звоном раскрыли головки: красные, голубые, жёлтые, фиолетовые... Садик в горшках продолжал быстро расти, и скоро превратился в большой красивый сад. И тут послышалась тихая музыка... а над цветами начали кружиться, жужжать золотые пчёлки... с прозрачными крылышками, как у Феи.

- Это не просто музыка. Это пчёлки жужжат: они работают, нектар собирают, - сказала Фея. - Пчёлки хоть и маленькие, но никогда не сидят без дела...

Оказалось, что сказочные пчёлки совсем не жалят. Узнали гномики об этом случайно.

Волшебные пчёлки покружились над цветами - и вдруг мисочка, которая стояла неподалёку, стала сама наполняться мёдом. Гномики очень обрадовались.

- Ой, теперь мы угостим Базлана: попугаи любят хлебом с мёдом! - радостно захопал в ладошки Говорилка.

- Я тоже хочу попробовать мёд, - засмеялся Бублик и тут же запустил в мисочку пальцы.

В это время к нему подлетела волшебная пчёлка. Гномик испугался, уже приготовился зареветь. И вдруг пчёлка заговорила, вернее, зажуужала:

- Мне не жалко мёда. Но всё же я - волшебная, и никого не жалею. А вот настоящая пчёлка сейчас могла бы тебя ужалить. Больно. Так что будь осторожным.

Говорилка вытаращил на брата глаза:

- Бублик, а ведь ты даже не спросил пчёлку... Как же это можно - без спросу?

Бублик виновато опустил голову. А добрая пчёлка села к Фее на волшебную палочку и сказала...

Что сказала пчёлка - гномики так и не расслышали, потому что в эту минуту оба проснулись. Запомнили только, что не полагается ничего трогать без спросу.

- Мне обидно-о-о... - сказал Бублик. - Я хотел помазать мёдом свой бу-у-убл ик!

- И я хотел лизнуть сладенького, - надул губы Говорилка. - почему-у-у закончился сон?

Сидят Бублик и Говорилка, смотрят на свой садик - и не узнают: пока они спали, веточки превратились в большие кусты, а вокруг - цветы: красные, голубые, жёлтые, фиолетовые... прямо, как во сне! Над цветами кружат пчёлы. Конечно, настоящие. Только мёда нигде нет. Зато гномики услышали запах дыма...

Оказалось, это папа-Лобик с большой сеткой на голове ходит вокруг улья и помахивает железной баночкой, из которой идёт дым.

- Папа-Лобик, ты зачем сетку на голову надел? - удивился Говорилка.

- Чтобы пчёлки меня не жалили.

- А нам сейчас снились пчёлки, которые никого не кусают, - сказал Бублик.

- Так это же сон... Во сне всякое бывает.

Говорилка вспомнил, что ему во сне сказала волшебная пчёлка, и к улью близко не подходил. Только закричал папе-Лобик издала:

- А ты зачем банкой машешь?

- Это не «банка», это - а дымарь, - сказал папа-Лобик. - Когда пчёлки слышат запах дыма, они знают, что мне надо открыть улей и вытащить из него рамки, потому в них набралось много мёда.

Во двор вышел дедушка Помахайкин.

- Подождите, шалуны. Скоро папа-Лобик поставит эти рамки в медогонку - это банка такая: в ней рамки вертят, чтобы вытекал мёд... Так вот: папа-Лобик откачает мёд, нальёт в вазочку, и тогда вы сможете его попробовать.

Никто не любит долго ждать. Гномики - тем более.

- Может, нам ещё поспать надо? - сказал Бублик, зевая: - пусть опять приснится Фея.

- Да, да, - обрадовался Говорилка: - узнаем, что говорила волшебная пчёлка... мне надо у неё извиниться...



СОДЕРЖАНИЕ

Анастасия (стих. В.К. Невярович)	1
Смерть Сократа (стих. В. Федоровская)	1
Брат Каина (стих. Н. Колмогорова)	1
О мироотвергающей религии (статья, И. Ильин)	2
Я топтал свою веру... (стих. Э. Ковишевский)	6
В белую ночь (стих. А. Лазутин)	6
Как чужому стать своим... (статья, В.Д. Ирзабеков)	7
Я люблю тебя, Русь (стих. Е.В. Новицкий)	11
Мольба (стих. А. Лазутин)	11
К теории флирта (рассказ, Н. Тэффи)	12
Хожу, брожу... (стих. А. Блок)	13
Уездный чудотворец (рассказ, свящ. Ярослав Шипов)	14
Разве ты объяснишь... (стих. Николай Заболоцкий)	17
Милость Божия (стих. Е.В. Новицкий)	17
Гоголь против Шевченко (статья, В.К. Невярович)	18
Вдохновение (стих. Т. Малеевская)	23
У Кораллового моря... (стих. Эльмара Фаустова)	23
Гроза (стих. С. Шемякина)	23
Княгиня (рассказ, А.П. Чехов)	24
Пастух и «шутник» (рассказ, А. Герасимов)	29
Классик (рассказ, Афиноген Графов)	30
Дар Бога (стих. Невярович)	32
Где цапли ночуют?.. (рассказ, А. Герасимов)	33
Молитва о любимых (стих. С. Кабанова)	35
Божии строки (стих. Т. Малеевская)	35
Гроза (стих. В. Пайков)	35
Соломея (роман, А.Ф. Вельтман)	36
Тропами потаёнными... (стих. И.А. Бунин)	46
Письма читателей	47
Ранние грозы (рассказ, М.В. Крестовская)	48
Некрасивая девочка (стих. Николай Заболоцкий)	55
Жена Азиса (стих. И.А. Бунин)	55
Влюблённый... (стих. Н. Колмогорова)	55
Новицкий Е.В – стихи с Украины (детские)...	56
В стране небывалой... Африканский гость... Мотылёк... Рыжий кот.....	
Тузик и его друзья (Т. Малеевская, рис. автора)	57

Над номером работали: редактор Т.Н. Малеевская.

Журнал можно приобрести в редакции «Жемчужины» - (07) 3161-49-27, в прицерковных киосках Св.Николаевского Кафедрального Собора, Св.Серафимовского храма и Св.-Владимирской церкви (Рокли) в Брисбене, в киоске Покровского Кафедрального Собора в Мельбурне, а также у следующих лиц:

Э.И. Городилова (02) 9727-69-87

З.Н. Кожевникова (02) 9609-29-87

Рисунки на обложке и к избранным текстам (иниц.) – работы Т. Малеевской (Попковой).



Т. Малеевская
«Страна отцов»
«Серебряный город»
«Душенька»:
А также книга
В.А. Малеевского «Претенденты на
Российский Престол»
За справками обращаться:
(07) 3161-49-27
или
tamaleevpearl@gmail.com



Литературный кружок «Жемчужное Слово»

<http://zhemchuzhnojeslovo.yolasite.com>

**Сайты связанные с журналом
«Жемчужина»**

* Электронная версия журнала «Жемчужина»
<http://zhemchuzhina.yolasite.com>

* Новый сайт «Русское Зарубежье», посв. Харбинцам
и послевоенным эмигрантам из Европы –
<http://russkojzarubezhje.yolasite.com>

Также личный сайт автора - tamaleevwriting.yolasite.com

